



ИМПЕРИЯ  
И НАЦИЯ  
В ЗЕРКАЛЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ПАМЯТИ

**Александр Семенов  
Илья Герасимов  
Марина Могильнер**

**Империя и нация в зеркале  
исторической памяти: Сборник статей**

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3116115](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3116115)*

*Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей: Новое издательство; М.:;  
2011*

*ISBN 978-5-98379-146-6*

**Аннотация**

Как обретают историческую генеалогию феномены современной политики и идеологии? Чья память доминирует на многоуровневом имперском и постимперском пространстве и как обеспечивается это доминирование? Что характерно для культуры памяти в посткоммунистических обществах? На эти и другие вопросы отвечают статьи профессиональных историков, собранные в книге «Империя и нация в зеркале исторической памяти».

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| От составителей                   | 4  |
| Яель Зерубавель                   | 6  |
| Этьенн Франсуа                    | 17 |
| Тони Джадт                        | 26 |
| I                                 | 26 |
| II                                | 32 |
| III                               | 42 |
| Рональд Григор Суни               | 44 |
| Андреас Лангеноль                 | 68 |
| 1                                 | 68 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 69 |

# Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей

## От составителей

Когда профессиональная историография дискредитирует себя в глазах общества – из-за систематических искажений, умолчаний или просто отчуждающе-схематичного стиля письма – люди обращаются непосредственно к исторической памяти в поисках сокровленной правды о прошлом. Не случайно два главных полюса общественного сознания времен перестройки были представлены двумя, по сути, одноименными центрами: националистически-консервативной «Памятью» и западнически-прогрессистским «Мемориалом». Именно радикальная политика памяти конца 1980-х годов лишила советский строй политической легитимности и привела к распаду СССР. Однако одновременно, во второй половине 1980-х годов, исследования исторической памяти оказались модным методологическим направлением европеистики. Сегодня история коллективной памяти (не путать с сугубо психологическими и нейрофизиологическими аспектами изучения индивидуальной памяти) является общепризнанной и вполне уважаемой научной дисциплиной. Однако, когда журнал *Ab Imperio* обратился к этой проблематике в рамках годовой программы 2004 года, оказалось, что ставшая почти «классической» история памяти полна нерешенных проблем и открытых вопросов.

*Ab Imperio* является первым (и, пожалуй, единственным) российским историческим журналом, интегрированным в международный научный процесс. Это проявляется и в присутствии журнала в ведущих академических индексах, формальной ассоциированности с ASEES (Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евроазиатских исследований), неукоснительном следовании принципу двойного анонимного рецензирования присылаемых материалов, да и в том, что три четверти авторов журнала живут и работают за пределами России. Основанный в 2000 году, этот двуязычный ежеквартальник (публикующий материалы на русском или английском) четко следует формату тематических годовых программ, которые анализируются в четырех тематических номерах. В 2004 году тема года была сформулирована как «Археология памяти империи и нации: конфликтующие версии имперского, национального и регионального прошлого». Редакция пригласила авторов приложить сложившийся канон истории коллективной памяти к российской ситуации полиэтнического, многоконфессионального и мультикультурного разнообразия. Оказалось, что вопрос «чья память?» является далеко не риторическим, что проявляется, в частности, в проблемах с написанием учебников, одинаково воспринимающихся в Москве и в Казани, на Кавказе и в Сибири. Чья версия событий прошлого берет верх, насколько историческая память подвержена манипуляциям, как действуют механизмы самоцензуры, вытеснения, амнезии? Эти вопросы оказались созвучными тем, что задают исследователи имперского пространства и его многообразия: насколько монолитным или сложносоставным является субъект власти и доминирования в империи, как сочетаются в едином имперском пространстве различные социальные иерархии (сословные, классовые, конфессиональные, этнические и т. д.). Принципиальная несводимость общественной памяти к одному национальному мифу отражает общую принципиальную несводимость имперского пространства к тем, преимущественно национальным, категориям, которыми это пространство описывают исследователи.

Главным итогом годовой исследовательской программы, посвященной исторической памяти империи и нации, стала наглядная демонстрация «многоголосия» исторического нарратива, принципиальная невозможность адекватного рассказа о прошлом с какой-либо

одной точки зрения, в рамках одной непротиворечивой «истории». Этот взгляд на прошлое и способ рассказа о нем лег в основу «новой имперской истории» – направления, одним из лидеров которого является *Ab Imperio*. «Новая имперская история» посвящена изучению империи не как «вещи», формальной структуры власти или экономической эксплуатации, а как «имперской ситуации». Для нее характерно не просто крайнее разнообразие общества и разношерстность населения, но принципиальная несводимость этого разнообразия к какой-то единой системе. С точки зрения истории памяти проблема сводится не столько к противоречию «памяти» и «фактов», сколько к несовпадению «русской», «украинской», «еврейской», «татарской» и прочей памяти, памяти элит и непривилегированных слоев, горожан и деревенских жителей. Та единая национальная память, которую пытались реконструировать французские историки под руководством Пьера Нора, в «имперской ситуации» России распадается на конфликтные или, по меньшей мере, несовпадающие локальные и частные «памяти». Публикуемые в этом сборнике материалы знакомят читателей с канон «истории памяти» в том виде, в каком он сложился к концу 1990-х годов (статьи Яель Зерубавель и Этьенна Франсуа). Показывают, какую роль общественная память играет в социально-политической мобилизации в переломные эпохи (Андреас Лангеноль, Стефан Требст) и в текущей политической ситуации (Тони Джадт, Рональд Григор Суни). Именно с учетом этих особенностей функционирования и восприятия общественной памяти мы предлагаем рассматривать сюжеты, связанные с интерпретацией российской/советской истории (в статьях Игоря Мартынюка, Сергея Маркедонова, Сергея Плохия, Владимира Бобровникова и Сергея Румянцева) и современной государственной политикой памяти в постсоветских странах (в статье Виктора Шнирельмана).

## Яель Зерубавель

### Динамика коллективной памяти

Коллективная память в последнее время оказалась в центре целого ряда междисциплинарных исследований. Настоящее исследование тоже принадлежит к быстро растущему числу работ, посвященных изучению процесса социального конструирования коллективной памяти и взаимоотношений между памятью и историей, исторической наукой. Меня интересует та роль, которую в современной общественной жизни играют различные нарративы и ритуалы, призванные донести до новых поколений память о тех или иных выдающихся событиях прошлого. Меня также интересует воздействие этих рассказов и ритуалов на политическую жизнь и то, каким образом общество иммигрантов, создавая принципиально новый образ своего народа, новое национальное самосознание, новую национальную культуру, переосмысливает свои исторические корни. Коллективная память об обретенных исторических корнях придает социуму новый импульс, становится средством выражения новых идей и ценностей. В этом процессе новая нация опирается как на историческую науку, так и на традицию. Избирательно используя тот материал, который они поставляют – то отвергая, то принимая их заключения, то подавляя, то развивая их положения, – новая нация заново создает свою память, формирует новую национальную традицию.

Мое исследование рассматривает исторические события, однако оно не историческое в строгом смысле слова. Все внимание здесь сосредоточено на вопросе о том, что помнят о каких-либо исторических событиях люди, принадлежащие к одному социуму, как они их интерпретируют, как создается общее для всех понимание этих эпизодов прошлого, как оно меняется со временем. Меня интересует тот уровень исторического знания, который в конечном счете приобретает самый глубокий смысл в контексте повседневной жизни. По замечанию выдающегося американского историка Карла Беккера, на жизнь общества, на ход событий самое большое влияние оказывают те *исторические познания, которые заключены в головах обычных людей*. Нельзя сказать, что, раз люди не хотят читать сочинения историков, историческая наука никак не влияет на ход событий. Знакомо ли большинство людей с историческими исследованиями или нет – так или иначе все они имеют какое-то представление о прошлом. И эта картина, существующая в их сознании – пусть даже она не имеет почти ничего общего с реальным прошлым, – помогает сформироваться их представлениям о политике и обществе.<sup>1</sup>

Итак, я рассматриваю тот уровень исторического знания, который Морис Хальбвакс называет коллективной памятью<sup>2</sup>. По замечанию М. Хальбвакса, каждая группа людей создает свою память о собственном прошлом – память, которая подчеркивает особенности этой группы, отличает ее от всех других. Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают данной группе возможность представить свою историю – происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет этому сообществу узнавать себя в череде столетий<sup>3</sup>. Хотя носителями коллективной памяти выступают отдельные люди, она шире их

---

<sup>1</sup> Becker C. L. What Are Historical Facts? // Detachment and the Writing of History: Essays and Letters of Carl L. Becker / Ed. by Phil L. Snyder. Ithaca, 1958. P. 61; курсив мой.

<sup>2</sup> Halbwachs M. La Mémoire collective [1950] // Halbwachs M. The Collective Memory / Trans. by F.J. and V.Y. Ditter. N.Y., 1980. P. 50–87. См. также: Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mémoire [1925] // Halbwachs M. On Collective Memory / Engl. trans. and intr. by Lewis A. Coser. Chicago, 1992. P. 37–189.

<sup>3</sup> Halbwachs M. The Collective Memory. P. 86.

индивидуальной автобиографической памяти, поскольку основывается на передаче знания от одного поколения к другому.<sup>4</sup>

Значительный вклад М. Хальбвакса в изучении данной проблемы состоит в том, что в своем основополагающем исследовании он дал определение коллективной памяти, проведя четкое различие между ней и другими формами памяти – автобиографической памятью личности и историческим сознанием. Труды М. Хальбвакса, в которых подчеркивалось значение социального контекста, «социальных рамок» (*cadres sociaux*) для понимания коллективной памяти, вдохновили растущее число работ, посвященных изучению социальных и политических аспектов поминания/коммеморации – сохранения в общественном сознании памяти о каких-то значимых событиях прошлого, «увековечивания памяти» о прошлом<sup>5</sup>. Однако, как мне кажется, стремление Хальбвакса подчеркнуть особые свойства коллективной памяти привело его к переоценке различий между памятью и историей, исторической наукой. Именно потому Хальбвакс и писал о них как о двух противоположных друг другу способах репрезентации прошлого. История, как результат скрупулезного изучения исторических источников, представляет собой «квинтэссенцию органической науки», она неподвластна давлению окружающей социополитической реальности. Коллективная память, со своей стороны, является неотъемлемой частью общественной жизни, а стало быть, постоянно трансформируется в ответ на меняющиеся потребности социума.<sup>6</sup>

Это противопоставление отчасти объясняется взглядом Хальбвакса на коллективную память и историческую науку как на два разных этапа в развитии человеческого познания прошлого. Историческая наука как основной способ познания прошлого возникает, с точки зрения Хальбвакса, тогда, когда слабеет сила традиции и социальная память угасает<sup>7</sup>. Научное изучение прошлого, таким образом, несет на себе печать современной эпохи, дискредитировавшей «память как форму связи с прошлым». В этом смысле можно сказать, что современный французский историк Пьер Нора идет по пути, проложенному М. Хальбваксом. П. Нора разделяет убежденность своего предшественника в спонтанной и динамичной природе коллективной памяти, находящейся «в постоянной эволюции, открытой для диалектики воспоминания и забвения, не осознающей свои постоянные изменения, легко поддающейся манипулированию и присвоению, порой угасающей на какое-то время, чтобы затем снова пробудиться к жизни»<sup>8</sup>. Однако историческая наука, как критический дискурс, возникла в противопоставлении памяти и стремится ее подавить. Таким образом, утверждает Нора, с угасанием живых традиций в современном обществе мы застаем лишь их реликты, «архивные формы» памяти, которые можно найти в особых, изолированных от обычного течения жизни «местах» (*les lieux de mémoire*). Эти места представляют собой, «в сущности, не что

<sup>4</sup> В то время как автобиографическая память относится к событиям, которые человек непосредственно пережил, коллективная память включает в себя и такие события прошлого, которые не связаны с личным опытом отдельных людей, но известны им в пересказе других лиц. Однако, как подчеркивает М. Хальбвакс, эти две формы памяти связаны между собой, о чем свидетельствует практика устанавливать дату того или иного события личной жизни, ориентируясь на социально значимые вехи (такие, например, как войны). См.: Ibid. P. 44—49.

<sup>5</sup> См., например: *Schwartz B.* The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory // *Social Forces*. 1982. № 61. P. 374—402; *Les Lieux de mémoire* / Sous la dir. de Pierre Nora. Paris, 1984. Vol. 1: La République; *Lowenthal D.* The Past Is a Foreign Country. Cambridge, 1985; *Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B.* The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory // *Sociological Quarterly*. 1986. Vol. 27. № 2. P. 147—164; *Hutton P.H.* Collective Memory and Collective Mentalities: The Halbwachs-Ariès Connection // *Historical Reflections / Réflexions Historiques*. 1988. Vol. 15. № 2. P. 311—322; *Connerton P.* How Societies Remember. Cambridge, 1989; *Kammen M.* Mystic Chords of Memory. N.Y., 1991; *Commemorations: The Politics of National Identity* / Ed. by John R. Gillis. Princeton, 1994.

<sup>6</sup> *Halbwachs M.* The Collective Memory. P. 78—87.

<sup>7</sup> Ibid. P. 78—83. Наблюдения Иосифа Хаима Иерушалми об угасании исторической памяти иудеев параллельно с развитием в XIX веке современного светского подхода к изучению истории еврейского народа подтверждают эту точку зрения. См. его книгу: *Yerushalmi Y.H.* Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle, 1982.

<sup>8</sup> *Nora P.* Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // *Representations*. 1989. Vol. 26. P. 8.

иное, как останки, последние воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась утраченной».<sup>9</sup>

Как замечает Патрик Хаттон, не многие специалисты сегодня согласятся со взглядами Хальбвакса на историческую науку, высказанными французским социологом в его работе «Коллективная память»<sup>10</sup>. Ни одно историческое исследование не может претендовать на исчерпывающую полноту – оно неизбежно ограничено взглядами автора, его выбором и организацией информации, законами жанра исторического повествования<sup>11</sup>. Конечно, историки могут стремиться соответствовать идеалу беспристрастного анализа событий прошлого, но они также принадлежат своему обществу и, будучи его членами, часто откликаются на господствующие в этом обществе представления о прошлом. Действительно, историки могут не только разделять те исходные посылки, на которых зиждется коллективная память, – своими работами они также могут способствовать формированию самих этих посылок, что хорошо видно на примере истории национальных движений.<sup>12</sup>

В то же время, вопреки своей динамичной природе, коллективная память не является суммой совершенно произвольных представлений о прошлом, нельзя также считать ее абсолютно независимой по отношению к исторической науке. Как отмечает Барри Шварц, подход Хальбвакса, «сосредоточенный исключительно на настоящем», подрывает само понятие непрерывности истории человечества, поскольку в нем слишком большой акцент ставится на способности коллективной памяти к адаптации. «Учитывая те ограничения, которые налагают на нас исторические источники, – считает Шварц, – прошлое нельзя полностью выдумать, создать заново как литературное сочинение, его можно только выборочно изучать»<sup>13</sup>. Подобно маятнику, коллективная память находится в бесконечном движении: от исторических источников – к современным общественно-политическим проблемам и задачам, от современности – обратно к свидетельствам о прошлом, стремясь объединить их между собой. Обращаясь к историческим источникам, коллективная память постоянно меняет свою трактовку событий, выборочно подчеркивая одни эпизоды, затушевывая другие, привнося какие-то новые штрихи. Таким образом, история и память не существуют независимо друг от друга, не развиваются в противоположных направлениях – они находятся в постоянной борьбе между собой, но в то же время они неизбежно зависят друг от друга<sup>14</sup>. Неоднозначность этих отношений и придает сохранению в обществе памяти о прошлом то творческое напряжение, благодаря которому коллективная память представляет собой столь интересный объект для изучения.

Коллективная память, как показывает настоящее исследование, вовсе не исчезла в наше время, ее нельзя рассматривать и как простой «пережиток прошлого». Вопреки обилию исторических изысканий, в современном обществе у людей по-прежнему создаются

---

<sup>9</sup> Ibid. P. 12.

<sup>10</sup> Hutton P. H. History as an Art of Memory. Hanover, NH, 1993. P. 73—90.

<sup>11</sup> См.: Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1946. P. 236—249; Becker C.L. What Are Historical Facts? // What Is History? / Ed. by E.H. Carr. N.Y., 1971; White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987.

<sup>12</sup> Funkenstein A. Tadmrit ve-Toda'a Historit ha-Yahadut uvi-Sevivata ha-Tarbutit [Как представляли историю евреев с древности до современности]. Tel Aviv, 1991. P. 28.

<sup>13</sup> Schwartz B. Op. cit. P. 393. См. также: Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B. Op. cit. P. 149—151, 158—161; Schudson M. The Present in the Past versus the Past in the Present // Communication. 1989. Vol. 11. P. 105—113; Coser L.A. Introduction // Halbwachs M. La Mémoire collective. Патрик Хаттон, рассматривая противоречия между теоретическими построениями Хальбвакса и его исследованием топографии Святой земли, приходит к выводу, что Хальбвакс был «историком памяти вопреки своим собственным взглядам». См.: Hutton P. H. Op. cit. P. 80—84.

<sup>14</sup> См. также написанное Натали Земон Дэвис в соавторстве с Рэндольфом Старном введение к специальному номеру журнала Representations (1986. Vol. 26. P. 5), посвященному коллективной памяти и контрпамяти.

общие воспоминания о своей истории. И сегодня поэты и писатели, журналисты и учителя подчас играют гораздо более заметную – по сравнению с профессиональными историками – роль в формировании бытующих в общественном сознании образов прошлого<sup>15</sup>. Широкий спектр формальных и неформальных средств, направленных на то, чтобы увековечить историю данного социума, помогает коллективной памяти сохранить свою жизненную силу. Праздничные торжества, фестивали, приуроченные к различным «знаменательным датам», памятники и мемориалы, песни, рассказы, театральные постановки, школьные учебники – все эти средства напомнить о славном прошлом вступают в соревнование с трактовками специалистов-историков.

Хотя М. Хальбвакс и подчеркивал пластичность и изменчивость коллективной памяти, в своих работах он прямо не касался вопроса о том, *каким образом* она трансформируется. В этом контексте понятие *коммеморации* – т. е. всех тех многочисленных способов, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, – становится центральным для нашего понимания динамики изменения памяти<sup>16</sup>. Коллективная память обретает плоть благодаря множеству различных форм «коммеморации»: юбилейным торжествам, чтению рассказов, участию в мемориальной службе по погибшим, соблюдению традиционных религиозных обрядов в праздничные дни. Посредством всех этих ритуалов у данной группы людей формируются представления о тех или иных событиях прошлого, вырабатывается единство этих представлений, подбирается определенная словесная форма для их артикуляции<sup>17</sup>. Участие в подобных «коммеморативных ритуалах» позволяет людям не только оживить и подтвердить старые воспоминания о прошлом, но и изменять их. Для того чтобы выразить именно эту идею, в своем романе «Возлюбленная» американская писательница Тони Моррисон использует выражение «вспомнить заново» (*to rememory*): она показывает, как повторное символическое переживание прошлого меняет воспоминания о нем<sup>18</sup>. На уровне отдельного сообщества каждый акт «коммеморации» позволяет ввести в оборот новые трактовки прошлого, хотя повторение «коммеморативных ритуалов» способствует поддержанию в обществе ощущения непрерывности коллективной памяти.

В то время как историки-профессионалы и другие представители интеллектуальной элиты выстраивают свои суждения о прошлом в соответствии с правилами науки, для большинства людей представления о днях минувших формируются в первую очередь под воздействием множества различных форм «коммеморации». Более того, приобщение детей с самого раннего возраста к коллективной памяти происходит еще до того, как они знакомятся с исторической наукой, и потому коллективная память может иметь на них значительно большее влияние. Особенно важную роль в приобщении ребенка к национальным традициям играет школа. Ничто так не способствует закреплению в сознании образов и рассказов, воплощающих коллективную память данной социальной общности, как образование, полученное в раннем детстве. Итак, в детском саду и начальной школе из рассказов, стихотворений, песен и пьес ребенок узнает об основных исторических персонажах и событиях. Во всех этих жанрах факты часто перемешаны с вымыслом, история – с легендой, поскольку принято считать, что эта красочная смесь придает литературе большую притяга-

---

<sup>15</sup> Джеффри Хартман утверждает, что перенасыщенность современных массмедиа всякого рода «невыведенными историями», различной продукцией, основывающейся на воспоминаниях и документах, ошеломляюще воздействует на наше чувство реальности и истории, приводя к тому, что Хартман называет «дереализацией». См.: *Hartman G.H. Public Memory and Modern Experience // Yale Journal of Criticism. 1993. Vol. 6. P. 240.*

<sup>16</sup> *Halbwachs M. The Collective Memory. P. 82.* См. также утверждение П. Нора о том, что «места памяти» (*lieux de memoire*) сохраняются благодаря их способности к изменениям: *Nora P. Op. cit. P. 19.*

<sup>17</sup> См. рассуждения Э. Дюркгейма о ритуалах, связанных с сохранением памяти о каких-либо событиях: *Durkheim É. The Elementary Forms of the Religious Life [1915] / Engl. trans. by Joseph Ward Swain. N.Y., 1965. P. 414—433.*

<sup>18</sup> *Morrison T. Beloved. N.Y., 1987.*

тельность в глазах маленьких детей<sup>19</sup>. Эти произведения, призванные увековечить память о прошлом, вносят свой вклад в формирование чувств и представлений, связанных с историей, которые могут сохраняться и в дальнейшей жизни, даже если впоследствии человек познакомится с исторической наукой.

Каждый акт «коммеморации» воспроизводит «коммеморативный нарратив» – рассказ о тех или иных исторических событиях, объясняющий причины, по которым общество в ритуализированной форме вспоминает об этом эпизоде прошлого, и заключающий в себе нравственный урок членам данного социума. Конечно, создавая это повествование, коллективная память опирается на исторические свидетельства. И все же источники используются здесь творчески и избирательно. Такой «коммеморативный нарратив», как и сочинения историков, отличается от хроники тем, что подвергается определенной литературной обработке (нарративизации) – превращается из простого перечня фактов в связный рассказ. Как показывает Хейден Уайт, отбор и организация большого числа фактов в повествовательную форму требует соблюдения определенных правил, предъявляемых в первую очередь поэтикой литературного жанра<sup>20</sup>. Сходство исторического сочинения с художественным текстом, отмеченное Уайтом, особенно хорошо заметно в случае «коммеморативного нарратива», где границы между вымыслом и реальностью еще более размыты<sup>21</sup>. Творческий потенциал «коммеморативного нарратива» – потенциал, ограниченный, впрочем, рамками, заданными историческими изысканиями, – равно как и манипулирование в этом нарративе историческими источниками путем сознательного затушевывания одних фактов и домысливания других сюжетов, и исследуется в настоящей работе.

Каждое действие, направленное на поддержание памяти о прошлом, каждый «акт коммеморации» воссоздает какой-то один отрезок этого прошлого, и потому такая память фрагментарна по своей природе. И все же все действия, взятые вместе, слагаются в *общую повествовательную конструкцию*<sup>22</sup>, или схему повествования, которая упорядочивает и приводит в систему коллективную память. Под этим термином я понимаю общие представления об истории, основную «сюжетную линию», которая определяется всей культурой данного социума и формирует у его членов единое понимание их прошлого.<sup>23</sup>

Итак, для того, чтобы по-настоящему оценить смысл тех или иных действий, направленных на сохранение памяти о каком-то эпизоде, важно рассмотреть их в контексте общей повествовательной конструкции, объединяющей воспоминания об отдельных событиях в обобщенные представления об истории. Исследование коллективной памяти о конкретном событии, таким образом, требует изучения истории этих действий в их связи с другими зна-

<sup>19</sup> См. также: Zerubavel Y. The Holiday Cycle and the Commemoration of the Past: Folklore, History, and Education // Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1986. Vol. 4. P. 111–118.

<sup>20</sup> White H. Op. cit. P. 42. См. также: Mink L.O. Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Ed. by Robert H. Canary and Henry Kozicki. Madison, 1978. P. 143; Lowenthal D. Op. cit. P. 219–224.

<sup>21</sup> См. различие, которое проводит Х. Уайт между «дискурсом реальности» и «дискурсом воображаемого»: White H. Op. cit. P. 20. См. также высказанные им ранее идеи: *Idem*. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1978. P. 51–80, 81–100; а также: Mink L. O. Op. cit. P. 144–145.

<sup>22</sup> Master commemorative narrative – дословно «коммеморативный мастернарратив». – *Примеч. пер.*

<sup>23</sup> Высказанное Жаном-Франсуа Лиотаром предположение о крушении метанарратива как источника легитимизации постмодернистского общества звучит весьма убедительно: Lyotard J. F. The Post-modernist Condition: A Report on Knowledge / Engl. trans. by Geoff Bennington and Brian Massumi. Minneapolis, 1984. И все же я считаю, что глубокая человеческая потребность осмысливать события прошлого и настоящего, подыскивая им словесное выражение, продолжает утверждать себя на уровне как общества, так и отдельной личности. Таким образом, даже испытав сильнее потрясения, приводящие к разрыву памяти, люди могут создавать новые рассказы о своем прошлом, которые способствуют заполнению провалов в памяти. Даже в технологически высокоразвитом обществе существует потребность в создании общих повествовательных конструкций, общих схем повествования – хотя вполне возможно, что эти конструкции претерпевают значительные изменения, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.

чимыми событиями в прошлом данного социума. Как мы увидим в дальнейшем, уподобление или противопоставление одних исторических событий и периодов другим само по себе уже является неотъемлемой частью формирования коллективной памяти.

В центре общей повествовательной конструкции заключены представления данной группы лиц о себе самих как об особой, отличной от всех других групп общности, находящейся в процессе исторического развития. В этом смысле общая повествовательная конструкция, объединяющая всю совокупность образов прошлого, вносит свой вклад в формирование нации, изображая ее как единый социум, проходящий сквозь века из одной исторической эпохи в другую<sup>24</sup>. Движение из прошлого в будущее часто подразумевает линейную модель времени. Однако общая повествовательная конструкция порой отказывается от подобной модели, допуская пропуски, отступления и повторы, наложения одних исторических событий на другие. Годовой цикл праздников – светских и религиозных – как правило, нарушает течение времени, подчеркивая повторяющиеся события в коллективном опыте социума<sup>25</sup>. Действительно, противоречие между линейным и циклическим восприятием истории часто лежит в основании процесса формирования коллективной памяти<sup>26</sup>. Как мы увидим в дальнейшем, нарративы, объясняющие причины, по которым отмечается память об отдельных событиях, часто предполагают их уникальный характер, в то время как помещение этих рассказов в контекст общей повествовательной конструкции, общего нарратива, позволяет увидеть повторяющиеся мотивы в истории данного общества.

Поскольку в коллективной памяти подчеркиваются отличительные свойства данной группы, определяющие ее лицо, в общей повествовательной конструкции особо выделяется такое событие, которое знаменует момент возникновения этой группы как независимого социума<sup>27</sup>. Сохранение памяти о начале истории, несомненно, необходимо для того, чтобы показать особенности данного сообщества, установить его границы по отношению к другим группам. Акцент на «коренном отличии»<sup>28</sup> между данной общностью и всеми остальными нужен для того, чтобы с ходу отмести любые сомнения в легитимности этой общности, в ее праве на существование. Сохранение памяти о возникновении сообщества обосновывает его притязания на независимость – часто путем демонстрации его глубоких корней, теряющихся во мраке веков. Национальные движения в Европе стимулировали значительный

<sup>24</sup> Говоря о природе национализма, Ханс Кон утверждает, что «национализм – это состояние ума, присущее большинству людей и претендующее на то, что оно свойственно всем членам данного общества» (*Kohn H. The Idea of Nationalism. N.Y., 1944. P. 16*). Бенедикт Андерсон и Хоми Баба развили идею о том, что нация представляет собой продукт общественного сознания, определив ее как «воображаемое политическое сообщество»: *Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. P. 14–16, 31; Bhabha H.K. DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation // Nation and Narration / Ed. by Homi K. Bhabha. London, 1990. P. 290–322*.

<sup>25</sup> Вопреки распространенному представлению о том, что современность (modernity) связана с линейной трактовкой времени, Эвиатар Зерубавель показывает, каким образом циклическое понимание времени до сих пор пронизывает современную повседневную жизнь. См.: *Zerubavel E. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life. Chicago, 1981*; а также: *Idem. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week. N.Y., 1985*.

<sup>26</sup> См.: *Terdiman R. Deconstructing Memory: On Representing the Past and Theorizing Culture in France since the Revolution // Diacritics. 1985. Vol. 15. P. 28–32*. Хоми Баба рассматривает противоречие между «педагогическим» и «перформативным» (ритуальным) аспектами общей повествовательной конструкции, объединяющей совокупность представлений о прошлом той или иной нации. Если педагогический аспект подразумевает «непрерывно текущее, линейное время, аккумулирующее в себе прошлое», то перформативный аспект представляет время как «повторяющееся, возвращающееся назад» – другую стратегию, используемую в создании национального нарратива. См.: *Bhabha H. K. Op. cit. P. 297*.

<sup>27</sup> См. обсуждение вопроса о культурной значимости истоков: *Eliade M. Myth and Reality. N.Y., 1963. P. 21–53*, а также: *Warner W.L. The Living and the Dead: A Study in the Symbolic Life of Americans. New Haven, 1959 [Yankee City Series. Vol. 5]. P. 156–225; Schwartz B. Op. cit. P. 374–402*.

<sup>28</sup> Как полагает Эвиатар Зерубавель, формирование идеи «коренного отличия», «великого разрыва» приводит к возникновению «ментальных лакун» в общественном сознании – в противном случае мы воспринимали бы реальность как непрерывную. Более подробное обсуждение этих понятий см.: *Zerubavel E. The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life. N.Y., 1991. P. 21–32*. Значимость этих проблем в контексте новых (или возобновленных) национальных притязаний очевидна в Европе после падения коммунистических режимов.

общественный интерес к крестьянскому фольклору, поскольку их участники верили в то, что фольклор служит неоспоримым свидетельством уникальности национального прошлого и народных традиций<sup>29</sup>. Точно так же ближе к нашим дням можно найти примеры попыток воссоздания или изобретения древних традиций, призванных показать общие исторические корни нации, уходящие в далекое прошлое.<sup>30</sup>

Как заметил Пьер Нора, в современном обществе, как правило, отмечается именно «рождение» нации (а не ее «начала», «истоки»), что позволяет передать ощущение разрыва с прошлым<sup>31</sup>. Действительно, рождение символизирует одновременно и момент отделения данного социума от другой группы, и начало его новой жизни как независимого коллектива со своим собственным будущим. Смещение акцентов в передаче памяти о «начале истории» может также служить и средством изменения самосознания сообщества. В качестве примера можно сослаться на перемены, произошедшие не так давно в представлениях афроамериканцев о своем прошлом. Современное чернокожее население Америки стремится подчеркнуть свое африканское происхождение, что отразилось, в частности, и в самоназвании данной группы. В то время как слово «негр» ассоциируется с рабским прошлым этих людей, желание подчеркнуть свои более древние африканские корни ведет к переосмыслению их групповой идентичности как «афроамериканцев».

Общий смысл развитию социума придает периодизация его истории в коллективной памяти, которая вносит в события прошлого определенный порядок. Подобно другим аспектам коллективной памяти, такая периодизация предполагает постоянный диалог между прошлым и настоящим, изменяясь по мере того, как данное сообщество переосмысливает свою историю с текущих идеологических позиций. Отобрав из числа многих других возможных некоторые критерии, коллективная память делит прошлое на основные эпохи, при этом сложные исторические процессы и явления сводятся к простым сюжетным линиям. Сила коллективной памяти заключается не в скрупулезном, систематичном или особо искусственном реконструировании прошлого, а в создании простых и ярких образов, при помощи которых удается выразить и укрепить определенную идеологическую позицию.

Склонность коллективной памяти к изображению прошлого в черно-белых тонах приводит к нагнетанию контраста между различными историческими периодами и способствует формированию однозначного отношения к тому или иному этапу в развитии данного общества. Таким образом, в коллективной памяти одни периоды представлены как важные шаги, сделанные этим обществом в своем развитии, в то время как другие изображаются как эпохи упадка. Как правило, эпохи первопроходцев, захвата чужих земель или борьбы за независимость получают позитивную оценку в истории нации. Напротив, те времена, когда данный народ входил в состав империй, характеризуются негативно, как эпохи, не позволившие полностью реализоваться его законному праву существовать как независимая политическая единица.

Приведение представлений о прошлом в определенную систему в ходе создания общей повествовательной конструкции также выявляет *коммеморативную плотность* тех или иных исторических периодов, что Леви-Стросс называл функцией «давления истории»<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Wilson W. A. *Folklore and Nationalism in Modern Finland*. Bloomington, 1976; Herzfeld M. *Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece*. N.Y., 1986; Handler R. *Nationalism and the Politics of Culture in Quebec*. Madison, 1988; Silverman C. *Reconstructing Folklore: Media and Cultural Policy in Eastern Europe* // *Communication*. 1989. Vol. 11. P. 141—160.

<sup>30</sup> Бернард Льюис приводит примеры стран Ближнего Востока и Африки, попытавшихся изменить свое национальное прошлое: Lewis B. *History: Remembered, Recovered, Invented*. Princeton, 1975.

<sup>31</sup> Nora P. *Op. cit.* P. 16—17.

<sup>32</sup> Выражение К. Леви-Стросса. Леви-Стросс говорит о возникновении «горячих» и «холодных» хронологий как результате «давления истории». См.: Lévi-Strauss C. *The Savage Mind*. Chicago, 1970. P. 259—260. См. также: Warner W.L. *Op. cit.* P. 129—135; Schwartz B. *Op. cit.* P. 375—377.

Под «коммеморативной плотностью» мы имеем в виду то значение, которое общество приписывает различным отрезкам своего прошлого: в то время как одни периоды занимают привилегированное положение в общественном сознании, им посвящено множество памятных торжеств и ритуалов, другие привлекают к себе лишь незначительное внимание или оказываются полностью преданными забвению. Таким образом, «коммеморативная плотность» выше всего у тех эпох или событий, которые занимают ключевое положение в историческом сознании данной группы и сохранению памяти о которых посвящаются значительные усилия. Ниже всего «коммеморативная плотность» тех эпох, которым в рамках общей повествовательной конструкции почти не уделяется внимания. Периоды или события, которые подавляются и затушевываются в коллективной памяти, становятся объектом *коллективной амнезии*. Таким образом, конструирование общей повествовательной конструкции позволяет увидеть динамику воспоминания и забвения, лежащую в основе создания любого нарратива, объясняющего причины, по которым общество находит нужным сохранять память о каких-то событиях. В то время как в коллективной памяти все внимание уделено определенным сторонам прошлого, отброшенными неизбежно оказываются все другие его аспекты, считающиеся несущественными или потенциально опасными для хода повествования и передачи основного смысла прошлого с определенных идеологических позиций.

Бернард Льюис обращает наше внимание на феномен воссоздания забытого прошлого. Однако не менее важно подчеркнуть, что подобное воссоздание утраченного может привести к тому, что будут пропущены какие-то другие эпизоды. Воспоминание и забвение, таким образом, тесно взаимосвязаны в формировании коллективной памяти. Именно этот дуализм процесса обретения и сокрытия исторических корней я и собираюсь рассмотреть в настоящей работе.<sup>33</sup>

Повествовательная конструкция, выстраивая представления общества о прошлом в определенную систему, диктует свое собственное «летоисчисление» – исторические события сдвигаются, уплотняются, дополняются новыми деталями или, наоборот, опускаются, иным же из них придается преувеличенное значение. С помощью этих и других риторических приемов историческое время в рассказе трансформируется в *коммеморативное время – время памяти*<sup>34</sup>. Так, обилие подробностей в упоминании об одном эпизоде чаще всего приводит к тому, что в сознании людей историческое время растягивается, и, наоборот, скупой и слишком обобщенный образ, сохраняющийся в памяти о каком-то событии, сокращает его длительность, сводит ее до минимума в рамках всего повествования. [...]

Хотя исторические изменения обычно занимают некоторое время и являются следствием определенных процессов, а не единичных событий, коллективная память склонна выделять отдельные эпизоды, представляя их как символические маркеры перемен. Несомненно, выбор одного знакового события гораздо лучше подходит для целей ритуализированного воспоминания, чем постепенный процесс перехода из одного состояния в другое<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Зигмунд Фрейд рассматривает феномен коллективной амнезии в своей работе «Моисей и монотеизм». См.: Freud S. Moses and Monotheism [1939]. N.Y., 1967. Подобно памяти, амнезия не является неподвижным состоянием, но представляет собой постоянно меняющийся процесс. Таким образом, социум может восстановить свою память, оправиться от коллективной амнезии и воссоздать подавленное прошлое. См., например, обсуждение проблемы воссоздания утраченного прошлого Бернардом Льюисом: Lewis B. Op. cit. О диалектике воспоминания и забвения см. специальный номер журнала Communications (1989. Vol. 49), озаглавленный «La mémoire et l'oubli».

<sup>34</sup> Введением понятия «коммеморативное время» мы развиваем понятие нарративного времени, предложенное Ж. Женеттом. См.: Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, 1980. P. 33—35.

<sup>35</sup> Эдвард Шилс заметил, что чаще всего «великие моменты» – это те события, которые, как считается, определили последующее развитие и, соответственно, придали ореол сакральности прошлому. См.: Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. Chicago, 1975. P. 198. Пример того, как длительный исторический процесс затушевывается в общественном сознании, когда какое-то событие оказывается выбранным в качестве ключевого эпизода в различных ритуалах, связанных с сохранением памяти об этом отрезке прошлого, см.: Zerubavel E. Terra Cognita: The Mental Discovery of America. New Brunswick, 1992.

В рамках общей повествовательной конструкции эти события предстают как *поворотные моменты*, изменившие ход исторического развития общества, – потому они и отмечаются с особым тщанием и торжественностью. В свою очередь, выбор определенных эпизодов прошлого в качестве таких поворотных моментов, подчеркивая драматизм перехода от одной эпохи к другой, высвечивает идеологические принципы, лежащие в основе общей повествовательной конструкции.

Высокая «коммеморативная плотность», приписываемая определенным событиям, служит не только тому, чтобы подчеркнуть их историческое значение. Она может также выделять их из длинного ряда эпизодов, придавать им особый статус символических текстов, служащих ключом к пониманию других событий истории данного социума. Таким образом, в коллективной памяти историческое событие может превратиться в *политический миф*<sup>36</sup>, через призму которого, как сквозь увеличительное стекло, члены данного сообщества видят настоящее и пытаются представить себе будущее. Поскольку поворотные моменты часто обретают символический смысл как знаки перемен, они скорее других трансформируются в политические мифы. Как таковые, они не только отражают социально-политические потребности социума, способствовавшие возникновению этого мифа, но сами становятся силой, формирующей эти потребности.

Став знаками глубоких исторических сдвигов и заместив собою в сознании людей целые переходные периоды, «поворотные моменты» обладают особым символическим смыслом. В силу этого они оказываются и самыми спорными и, в сравнении с событиями, безусловно относимыми в общей повествовательной схеме к определенному историческому этапу, в гораздо меньшей степени поддаются однозначной трактовке. Неоднозначность вытекает из пограничного положения «поворотных моментов» между двумя эпохами: они одновременно обозначают и уход от прошлого, и вступление в новую жизнь – мотивы, свойственные всем обрядам перехода<sup>37</sup>. Как пишет Виктор Тернер, «пограничные объекты и явления не принадлежат ни тому ни другому миру – они находятся между ними, не склоняясь ни к одной, ни к другой позиции, установленной законами, обычаями, условностями и обрядами каждого из этих двух миров. Потому в разные века у многих народов, ритуализирующих состояние перехода в культуре и обществе, неоднозначные, неопределенные свойства этих объектов и явлений находили и находят выражение в богатом арсенале символов».<sup>38</sup>

Как и в случае других обрядов перехода, любые действия, связанные с сохранением памяти об этих поворотных моментах истории, пронизаны чувством приобщения к святыне, но в то же время в них сквозит глубокое внутреннее противоречие. Это символическое состояние «порубенья», бытия на грани двух эпох, с одной стороны, придает «поворотным моментам» дополнительную неоднозначность, позволяет по-разному их интерпретировать, а с другой – способствует их превращению в политический миф, используемый как орудие в борьбе различных сил. Многозначность смысла может быть не столь заметной в конкретном случае отмечаемая памяти об этом эпизоде: вполне возможно, что в этот раз удалось подчеркнуть один определенный смысл этого события и подавить все другие возможные интерпретации. Однако сравнительное исследование различных мер, направленных на сохранение памяти об одном и том же «поворотном моменте» истории, позволяет заметить как противоречия в трактовках, так и поразительную способность мифа примирять конфликты между резко расходящимися прочтениями прошлого.

Именно эта способность и помогает понять, почему отдельные события продолжают занимать центральное место в исторической памяти того или иного сообщества – вопреки

---

<sup>36</sup> Tudor H. Political Myth. N.Y., 1972. P. 137—140.

<sup>37</sup> Van Gennep A. The Rites of Passage [1908]. Chicago, 1960. P. 11.

<sup>38</sup> Turner V. W. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmondsworth, Middlesex, 1974. P. 81.

внутренним противоречиям, заложенным в бытующие о них представления. Пограничное положение «поворотных моментов» дает простор различным интерпретациям, сглаживает конфликты, существующие между разными трактовками, тем самым позволяя этим событиям сохранять сакральное значение, удерживаться на своем месте в рамках общей повествовательной конструкции. Порой, однако, хрупкое сосуществование противоречащих друг другу интерпретаций нарушается, миф не может более сдерживать внутренний конфликт между ними. В такие моменты начинается открытая борьба за прошлое, соперничающие группировки вступают в столкновение из-за того, как следует его трактовать. [...] В подобных ситуациях хрупкое равновесие между господствующими в обществе представлениями о том или ином историческом событии – представлениями, выраженными в определенных повествовательных конструкциях, и другими, альтернативными представлениями – может быть нарушено, что, в свою очередь, вызывает более глубокие сдвиги в коллективной памяти общества.

Альтернативную повествовательную модель, прямо противоречащую общей повествовательной конструкции и существующую вопреки подавляющему превосходству последней, мы определили как *контрпамять*. Как предполагает этот термин, «контрпамять» в силу самой своей природы – память оппозиционная, враждебная господствующей коллективной памяти, обладающая подрывным потенциалом. Если общая повествовательная конструкция пытается искоренить альтернативные трактовки, то «контрпамять», в свою очередь, отрицает истинность общепринятых представлений о прошлом и настаивает на том, что предлагаемое ею прочтение лежит гораздо ближе к исторической правде. «Контрпамять» бросает вызов коллективной памяти не только в мире символов – несомненно, что она прямо связана с политикой. Общая повествовательная конструкция представляет образ прошлого, созданный политической элитой – он служит интересам этой элиты и способствует решению ее политических задач. «Контрпамять» бросает вызов их гегемонии, предлагая отличный от господствующей общей повествовательной конструкции нарратив, отражающий взгляды лиц, вытесненных на обочину общества. Таким образом, память может стать полем борьбы различных политических сил: используя различные памятные коммеморативные торжества и другие действия, направленные на сохранение памяти о прошлом, соперничающие группировки разворачивают свои трактовки истории данного сообщества для того, чтобы обрести контроль над политической системой или обосновать свою сепаратистскую позицию.<sup>39</sup>

Пользуясь термином «контрпамять», я вполне солидаризируюсь с представлениями Мишеля Фуко об оппозиционной, подрывной природе памяти. Однако я не разделяю его убежденности в фрагментарной природе этого феномена<sup>40</sup>. «Контрпамять» не обязательно ограничивается лишь созданием образа какого-то одного события – она может стать составной частью всей совокупности представлений о прошлом, вступающей в противоречие с господствующими взглядами. Даже в том случае, когда «контрпамять» бросает вызов сложившемуся представлению о конкретном историческом событии, она внушает особые опасения именно потому, что тем самым затрагиваются и образы многих других событий, так что в итоге под вопросом оказывается общая схема повествования, выражающая коллективную память о прошлом.

---

<sup>39</sup> См., например: *Leach E. Political Systems of Highland Burma*. Boston, 1954. Брюс Канферер в своей работе показывает, как противоборствующие взгляды на прошлое стали причиной кровопролития в Шри-Ланке. См.: *Kapferer B. Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance, and Political Culture in Sri Lanka and Australia*. Washington, DC, 1988; *Van Der Veer P. Ayodhya and Somnath: Eternal Shrines, Contested Histories // Social Research*. 1992. Vol. 59. № 1. P. 85–109.

<sup>40</sup> См.: *Foucault M. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews / Trans. and ed. by Donald F. Bouchard*. Ithaca, 1977. См. также, как рассматривается это понятие в работе Джорджа Липсита: *Lipsitz G. Time Passages: Collective Memory and American Popular Culture*. Minneapolis, 1989. P. 213.

Действительно, подрывной потенциал «контрпамяти» хорошо осознается политическими режимами, запрещающими различным меньшинствам совершать те или иные ритуалы, направленные на сохранение своей коллективной памяти. В качестве примера можно привести известные усилия болгарских властей по подавлению турецкого, цыганского и мусульманского фольклора как «инострannого», чтобы тем самым способствовать созданию особого, отчетливо «болгарского» самосознания, предполагающего и соответствующий образ исторического прошлого страны<sup>41</sup>. Точно так же представления о прошлом африканеров сначала отражали противостояние между этим национальным меньшинством и британскими колонизаторами, позднее же их образы прошлого стали служить интересам политики апартеида в отношении чернокожего и цветного населения Южной Африки<sup>42</sup>. Даже в демократических обществах противоречия между коллективной памятью и «контрпамятью» разных групп с легкостью могут спровоцировать ожесточенные конфликты по поводу того, как следует рассказывать о прошлом и какие представления о нем ближе к истине. Полемика в американском обществе в связи с ежегодными торжествами в День благодарения наглядно это подтверждает: в то время как «американская традиция» отмечать этот праздник восходит к историческому восприятию первых переселенцев, ревизионистский подход настаивает на том, чтобы «вспоминать» в этот день и аборигенов Америки – и вспоминать их не такими, какими их увидели выходцы из Старого Света, а такими, какими они запомнили себя и свою встречу с европейцами. Проблема не ограничивается лишь каноном празднования Дня благодарения. Новый подход предполагает коренной пересмотр всей общей повествовательной конструкции, в рамках которой находят выражение господствующие представления о прошлом американской нации, в том числе и о ее истоках. Требование включить «контрпамять» аборигенов Америки в ту схему, которая ранее утвердилась в качестве коллективной памяти «всех американцев», предполагает переосмысление американцами своего национального самосознания, своей коллективной идентичности, утверждает право вытесненной на обочину части американского общества на более достойное место в истории. Наличие подобных противоречий и конфликтов в конечном счете приводит к изменениям в коллективной памяти и придает динамизм, не позволяющий ей превратиться в набор «реликтов прошлого», с которым современному обществу приходится мириться. Всякое действие, направленное на сохранение памяти о прошлом, придает коллективной памяти новый импульс, служит толчком к новым переменам. Давление «контрпамяти» тоже может способствовать поддержанию жизненных сил коллективной памяти, поскольку брошенный «контрпамятью» вызов стимулирует ответные действия. Коллективная память может успешно подавить оппозиционную память или удерживать ее под контролем, но может случиться и так, что «контрпамять» получит толчок к развитию и, по мере нарастания своей популярности, утратит оппозиционный статус и сама превратится в коллективную память. Великая Французская революция, как и большевистская революция в России, может служить примером попытки силового уничтожения старых схем, по которым выстраивались воспоминания о прошлом страны, превращения «контрпамяти» в официальную историческую память, служащую поддержанию нового политического, социального и экономического порядка. [...]

---

<sup>41</sup> См.: *Silverman C.* Op. cit. P. 141—160.

<sup>42</sup> *Thompson L.* The Political Mythology of Apartheid. New Haven, 1985.

## **Этьенн Франсуа «Места памяти» по-немецки: как писать их историю?**

В тексте, опубликованном по-немецки чуть более трех лет назад, Пьер Нора, создатель и руководитель проекта «Места памяти», напомнил, что если на первом этапе речь шла о создании «символической топологии Франции», иными словами, о «подробном описании всех материальных и нематериальных мест, в которых воплотилась коллективная память», то постепенно рамки проекта существенно расширились. Исходной точкой проекта была гипотеза, согласно которой Франция представляет собой «реальность насквозь символическую», в конце же речь пошла уже о «новом подходе к написанию национальной истории». Пьер Нора задался целью создать «историю Франции второй степени» или, точнее, отреагировать на «радикальные перемены в традиционных формах национального чувства и в отношении французов к своему прошлому».<sup>43</sup>

Можно ли утверждать, что эта новая «история символического типа», впервые опробованная на примере Франции, применима только к этой стране? Следует ли видеть в ней результат «исключительного и почти невротического» (по выражению Жака Ле Гоффа) отношения французов к собственному прошлому, или же, напротив, эта новая парадигма может быть распространена и на другие страны, прежде всего на Германию?<sup>44</sup> Пьер Нора в упомянутой выше статье не дал четкого ответа на этот вопрос; конечно, он признал, что его метод, «особенно хорошо подходящий для французской ситуации, может, вероятно, принести пользу и применительно к другим национальным контекстам», однако, перечисляя чуть ниже те причины, по которым во Франции этот новый тип исторического исследования оказался в высшей степени востребованным, Нора отдает явное предпочтение факторам внутренним, сугубо французским (обстановка в «последеголлевской» Франции, исчерпанность революционной идеи) перед факторами более общего порядка, имеющими силу и по отношению к другим странам.

Итак, история – «французская страсть» (Филипп Жутар) и метод, использованный в «Местах памяти», служит новым подтверждением этого факта? Следует ли видеть в этом методе одно из выражений французского «особого пути», или же, напротив, метод этот может быть распространен и на гораздо более широкий круг объектов? Применим он исключительно к Франции или может быть действенным также и применительно к Германии?

Что касается меня, то сегодня я могу ответить с полной определенностью: разумеется, метод этот применим отнюдь не только к Франции. Уверенность моя, однако, относительно свежа и порождена ситуацией, сложившейся в самые последние годы. Задайся я подобным вопросом в 1986 году, когда вышел из печати первый том «Мест памяти», я, скорее всего, ответил бы на него совсем иначе. Дело в том, что в прежние годы между «формами национального чувства и отношением общества к своему прошлому» во Франции и Германии различий имелось куда больше, чем сходства.

Различия эти, кстати, никуда не делись и продолжают влиять на две основополагающие сферы: отношение ко времени и отношение к нации<sup>45</sup>. Если во Франции под историей пони-

---

<sup>43</sup> Nora P. Das Abenteuer der "Lieux de mémoire" // Nation und Emotion / Hrsg. von Étienne François, Jakob Vogel und Hannes Siegrist. Deutschland und Frankreich im Vergleich 19 und 20. Jahrhundert. Göttingen, 1995. S. 83—92.

<sup>44</sup> Хотя бы по той причине, что и в этой стране отношения с прошлым носят в высшей степени «невротический» характер?

<sup>45</sup> В данном тексте я продолжаю размышления, начатые в трех предыдущих статьях, к которым позволю себе отослать

мается многовековое прошлое, восходящее если не к галлам, то, по крайней мере, к Средним векам, причем отношение к этой истории чаще всего едино у всей нации и носит позитивный характер, то в Германии, напротив, историческая рефлексия чаще всего сводится к размышлениям о двенадцати годах правления национал-социалистов (и о причинах их прихода к власти), причем центральное место в этих размышлениях занимает критика и даже самокритика<sup>46</sup>. Ибо в Германии проблемной оказывается сама история, разрывающаяся между тягой к нормальности и сознанием абсолютной исключительности нацизма. В самом деле, о каких «местах памяти» германской истории может идти речь, если, как справедливо заметил Юрген Хабермас, самым памятным из всех мест своей истории современным немцам приходится считать не что иное, как Освенцим?

Развал ГДР и объединение Германии, против ожидания, не переменили ситуацию коренным образом. Разумеется, сегодня под историей подразумевают не только историю нацизма, но и «вторую немецкую диктатуру», в которой видят уже не только жупел, но и загадку, которую необходимо разгадать, и, более того, прошлое, которое необходимо понять и принять<sup>47</sup>. Но если объект внимания изменился, господствующая тональность осталась прежней: от историков по-прежнему требуют в первую очередь критики и самокритики. Отношение к истории ГДР зависит чаще всего от отношения к истории нацизма и от тех уз, которые связывали – или не связывали – историка с нацистским режимом. В результате, хотя объект внимания частично изменился, актуальность темы *Vergangenheitsbewältigung* (преодоление прошлого) парадоксальным образом не только не уменьшилась, но даже возросла. В сегодняшней Германии серьезные обсуждения прошлого, затрагивающие все общество и вызывающие самый большой взрыв эмоций, по-прежнему касаются прежде всего и исключительно прошлого нацистского. Недавние примеры – дискуссия о поддержке гитлеровского режима историками, которые затем сыграли решающую роль в возрождении исторической науки в послевоенной Германии (дискуссия, разгоревшаяся на последнем конгрессе немецких историков в сентябре 1998 года), а также полемика, вызванная речью, которую произнес писатель Мартин Вальзер в октябре 1998 года, после вручения ему премии немецких издателей, и ответным выступлением председателя Центрального совета немецких евреев Игнация Бубиса. Конец этому бесконечному спору был положен только весной 1999 года, когда члены бундестага проголосовали за создание в Берлине, в непосредственной близости от Бранденбургских ворот, мемориала памяти жертвам Холокоста (Holocaust-Denkmal).<sup>48</sup>

Второе отличие от французов заключается в отношении немцев к собственной нации. Если во Франции существование французской нации воспринимается как само собой разумеющееся, в Германии именно это существование оказывается проблематичным и публичное обсуждение прошлого имеет целью не только разгадать тайну немецкой национальной идентичности, но и освободиться от этой тайны, заковать ее. Эта особенность германской памяти, очевидная в таких эпизодах, как громкие торжества 1980-х годов или создание нового Немецкого исторического музея в Западном Берлине, также до сих пор не утратила своего значения. Конечно, с 3 октября 1990 года сомнений в наличии немецкой нации быть не может; больше того, впервые в истории Германии между нацией и государством устано-

читателя: *Francois É.* Nation retrouvée, “nation à contrecœur”: l’Allemagne des commémorations // *Le Débat*. 1994. № 78. P. 62—70; *Idem.* Von der wiedererlangten Nation zur “Nation wider Willen”: Kann man eine Geschichte der deutschen Erinnerungsorte schreiben? // *Nation und Emotion*. S. 93–107; *Idem.* Rapport à l’histoire // *Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand des idées* / Nouvelle éd. Augmentée; ed. Jacques Leenhardt et Robert Picht. Arles, 1997. P. 17—24.

<sup>46</sup> Так обстоит дело прежде всего с прошлым «национальным»; выводы звучали бы иначе – и были бы гораздо ближе к тому, что можно сказать о французской ситуации, – если бы в поле нашего зрения попало отношение к прошлому местному или региональному.

<sup>47</sup> *Klessmann C.* Zeitgeschichte in Deutschland nach dem Ende des OstWest-Konflikts. Essen, 1998.

<sup>48</sup> *Mahmal Mitte: Eine Kontroverse* / Hrsg. von Michael Jeismann. Cologne, 1999; *Das Holocaust-Mahnmal: Dokumentation einer Debatte* / Hrsg. von Michael S. Cullen. Zurich, 1999.

вилось полное соответствие. Однако во многих аспектах эта нация существует скорее на словах, чем на деле, и предстоит еще немало сделать для того, чтобы придать ей завершенность, особенно в человеческих мыслях и представлениях. Для множества немцев нация продолжает оставаться источником мучительных вопросов, она не столько объединяет их, сколько разъединяет и создает новые сложности в том, что касается организации мемориальных мероприятий (как, например, увековечить в Бухенвальде или Заксенхаузене память десятков тысяч жертв НКВД, умерших в заключении в период с 1945 по 1949 год и похороненных в общих безымянных могилах, – и при этом не навлечь на себя обвинений в оправдании нацизма?), преподавания истории в начальной и средней школе (министры образования отдельных немецких земель до сих пор не сумели добиться единодушия в отношении учебных программ и инструкций для преподавателей<sup>49</sup>) или в области градостроительства (что, например, делать с Дворцом республики, открытым в центре Берлина в бытность его столицей ГДР, а после объединения Германии закрытым, согласно официальной версии, по причине избытка асбеста в стенах?). Выбирая способ увековечить прошлое, нация одновременно выбирает свое будущее, и отсутствие четких и однозначных решений перечисленных проблем достаточно ясно показывает, как трудно единой (вновь объединенной) Германии – этой, по выражению мюнхенского историка Кристиана Мейера, «нации поневоле» – воспринять себя как нацию и осознать себя таковой.

Сами термины, в которых идет обсуждение проблемы памяти на разных берегах Рейна, свидетельствуют о коренном различии двух стран и двух наций. Во Франции во главу угла ставятся три понятия: «память нации, национальная идентичность, национальное наследие». В Германии же дело обстоит совсем иначе: если понятие «идентичность» употребляется так же часто (и так же невнятно), как во Франции, представление о «памяти» остается достаточно зыбким и даже не имеет единого словесного выражения (в немецком языке французскому *m é moire* соответствуют целых два слова: сравнительно редкое *Ged ä chtnis* (память) и гораздо более употребительное, но чисто описательное *Erinnerung* (воспоминание); наконец, о «национальном наследии» речи вообще практически не идет, скорее всего, потому, что соответствующее немецкое слово (*Erbe*) было дискредитировано нацистами, у которых оно было в большой чести, а затем политиками ГДР.

Различия между французским и немецким отношением к национальному прошлому очень велики. Следует ли, однако, сделать из всего сказанного вывод, что написать «историю Германии второй степени», создать ее «символическую топологию» (я повторяю процитированные выше слова Пьера Нора) невозможно?

Если двадцать или тридцать лет назад такое утверждение звучало бы, вне всякого сомнения, справедливо, сегодня оно уже не соответствует реальному положению дел. За последние годы немецкое общество претерпело целый ряд изменений, результатом которых стало сближение немецкого и французского подходов к прошлому – сближение, которое, разумеется, не отменяет перечисленных выше различий, но уменьшает их значимость и превращает из абсолютных в относительные. С другой стороны, в то же самое время французское отношение к национальному прошлому утратило большую часть своей исключительности. Не случайна та поразительная синхронность, с которой Франция и Западная Германия два десятка лет назад вступили в «мемориальную эру» и принялись увековечивать события своего прошлого.

Среди проявлений этого мемориального бума (причины которого, впрочем, исследованы пока недостаточно<sup>50</sup>) назовем три, представляющиеся нам наиболее существенными.

---

<sup>49</sup> Это отсутствие единодушия связано не только со спорами, которые вызывает история Германии, но и со стремлением представителей разных земель отстоять независимость в сфере образования и культуры.

<sup>50</sup> Среди структурных причин сближения Франции и Германии в том, что касается мемориальных церемоний, можно назвать, по крайней мере в качестве гипотезы, постоянно возрастающую роль туризма как массового культурного и обще-

Первое – значительный рост мемориальных мероприятий, начиная с празднования «года Лютера» (1983), которое размахом и разнообразием церемоний оставило далеко позади скромные юбилеи 1946 и 1967 годов (западногерманским устроителям придавало дополнительный пыл соревнование с восточными немцами, отмечавшими в том же 1983 году столетие со дня смерти Карла Маркса), и кончая неумеренно пышным празднованием пятидесятилетия со дня окончания Второй мировой войны в 1995-м. Причем мирная и порой даже откровенно сочувственная атмосфера мероприятий 1995 года резко контрастировала с куда более напряженной атмосферой, в которой протекали аналогичные мероприятия десятилетиями раньше. Второе проявление того мемориального бума, о котором идет речь, – увлечение историческими выставками, начиная с успеха штутгартской выставки 1977 года, посвященной Гогенштауфенам (успех этот, превзошедший самые оптимистические ожидания, обозначил резкую перемену в общественных настроениях), и кончая тем интересом, с которым в нынешнем 1999 году были встречены в Германии как нескончаемые торжества по случаю 250-й годовщины со дня рождения Гете (Веймар по этому случаю был даже провозглашен «культурной столицей Европы»), так и празднование пятидесятилетия создания ФРГ и десятилетия со дня падения Берлинской стены, ставшего первым шагом на пути к объединению Германии. Большая выставка «Единство – Право – Свобода. Пути немцев, 1949—1999» (Einigkeit und Recht und Freiheit. Wege der Deutschen, 1949—1999), открытая в берлинском музее «Мартин Гропиус Бау» (Martin-Gropius-Bau) в мае нынешнего [1999] года, пользуется у публики неослабевающей популярностью, и организаторы надеются, что число посетителей превысит полмиллиона. Наконец, третье проявление мемориального бума – мода на исторические музеи. Первым серьезным шагом в этом направлении стало превращение выставки «Вопросы к немецкой истории» (Fragen an die deutsche Geschichte), открытой в 1971 году в связи с празднованием столетия постройки Рейхстага, в постоянную экспозицию. Второй существенной инициативой, которую следует упомянуть, было принятое в 1982 году решение (в определенном смысле явившееся следствием успеха тех выставок, которые проходили в 1981 году в связи с «годом Пруссии») построить в Западном Берлине большой Немецкий исторический музей (Deutsches Historische Museum), задуманный изначально как ответ на открытие в Восточном Берлине, в здании бывшего арсенала прусских королей (Zeughaus), Музея немецкой истории (Museum für deutsche Geschichte). Один из «парадоксов истории» заключается в том, что после падения Берлинской стены Немецкий исторический музей разместился в том самом здании, где прежде располагался его конкурент. Наконец, третьим важным шагом стало открытие в 1994 году в Бонне Дома истории Федеративной Республики Германии (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland), прославляющего – умно, тонко и с использованием новейших технических достижений – успехи немецкой (западногерманской) демократии. Что же касается Берлина, то достаточно упомянуть недавнее завершение строительства Еврейского музея по проекту архитектора Даниэля Либескинда (шедевр, не имеющий себе равных) или начало работ по расширению Немецкого исторического музея (под руководством архитектора И.М. Пея), чтобы стало ясно: исторические музеи в Германии по-прежнему пользуются большим спросом.

Параллельно наблюдается возрождение интереса немецких историков к истории Германии, а с недавних пор – к истории коллективной памяти и исторического сознания. Если исторические книжные серии, выходившие до этого, состояли преимущественно из монографий, адресованных специалистам, то в начале 1980-х годов три крупных немецких издательства почти одновременно и с большим шумом основали серии, предназначенные для широкой публики: к сочинению книг издатели привлекли известных историков, всерьез оза-

ботились стилем, иллюстрациями, качеством печати. Публике эти амбициозные замыслы пришлось по вкусу; ответом на ее ожидания стала «Малая история Германии», выпущенная несколько лет назад в Мюнхене. Написанная одним из самых блестящих историков своего поколения, Хагеном Шульце, богато иллюстрированная репродукциями экспонатов берлинского Немецкого исторического музея, книга эта имела огромный успех; за два года было продано более ста тысяч экземпляров<sup>51</sup>. В самое последнее время стали выходить (или готовиться к выходу) многочисленные работы, посвященные коллективной памяти и ориентирующиеся – порой опосредованно, а порой совершенно явно – на «французский» тип исследований такого рода. После публикации пионерских статей Томаса Ниппердея «Национальная идея и национальный памятник в XIX веке» (1968) и «Кельнский собор – памятник нации» (1981)<sup>52</sup> внимание немецких историков привлекают в особенности две области. Первая – это, разумеется, память о нацизме, причем в последние годы в работах, посвященных этой теме, наблюдается особенный интерес именно к феноменам памяти (а не только к историографическим и политическим аспектам, до сих пор остававшимся излюбленными предметами анализа). Из огромного потока литературы на эту тему выделим книги Юргена Даниэля, Норберта Рая, Джеффри Херфа, Петера Райхеля, Петера Штайнбаха и Эдгара Вольфрума<sup>53</sup>. Вторая область, вызывающая повышенный интерес историков, – это национализация немецкой коллективной памяти в XIX и начале XX века. Здесь следует назвать в первую очередь (хотя список этот, разумеется, также не претендует на полноту) работы Фолькера Аккермана, Райнхарда Алингса, Алеиды Ассман, Вольфганга Хардтвига, Михаэля Ейсмана, Райнхарта Козеллека, Лотара Махтана, Шарлотты Такке, Винфрида Шпайткампа и Якоба Фогеля<sup>54</sup>. Увеличение числа исследований такого рода тем более характерно, что параллельно с ним крепнет и расцветает настоящая «немецкая школа изучения памяти», для которой характерно, наряду со старинным немецким пристрастием к философским и филологическим штудиям и интересом к истории понятий, близкое знакомство с новейшими тенденциями мировой науки. У истоков этой «школы», представители которой всегда отличались склонностью к теоретизированию, стояли Томас Ниппердей и Райнхарт Козеллек.

<sup>51</sup> *Schulze H. Kleine deutsche Geschichte (mit Bildern aus dem Historischen Museum)*. Munich, 1996. Эта книга к настоящему времени уже переведена на английский (продано 35 000 экземпляров), корейский, японский и польский языки. Готовится к выходу издание на французском.

<sup>52</sup> *Nipperdey T. Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert* // *Historische Zeitschrift*. 1968. № 206. S. 527—585; *Idem. La cathédrale de Cologne, monument à la nation* // *Réflexions sur l'histoire allemande* / Trad. par Claude Orsoni. Paris, 1992. P. 222—245.

<sup>53</sup> *Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten* / Hrsg. von Jürgen Danyel. Berlin, 1995; *Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit*. München, 1996; *Herf J. Divided Memory: The Nazi-Past in the Two Germanys*. Cambridge, Mass., 1997; *Reichel P. Politik mit der Erinnerung: Gedenksorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit*. München, 1999; *Steinbach P. Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Erinnerung der Deutschen*. Paderborn, 1994; *Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich* / Hrsg. von Petra Bock und Edgar Wolfrum. Göttingen, 1999. Назову также две книги, вышедшие в самое последнее время на французском языке: *Solchany J. Comprendre le nazisme dans l'Allemagne des années zéro (1945—1947)*. Paris, 1997; *Gaudard P. – Y. Le Fardeau de la mémoire*. Paris, 1998.

<sup>54</sup> *Ackermann V. Nationale Totenfeiern in Deutschland von Wilhelm I. bis Franz-Josef Strauß: Eine Studie zur politischen Semiotik*. Stuttgart, 1990; *Alings R. Monument und Tradition: Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal*. Berlin; N.Y., 1996; *Assmann A. Arbeit am nationalen Gedächtnis: Eine kurze Geschichte der deutschen Bildungsidee*. Frankfurt, 1993; *Hardtwig W. Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500—1914, Ausgewählte Aufsätze*. Göttingen, 1994; *Jeismann M. Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792—1918*. Stuttgart, 1992; *Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne* / Hrsg. von R. Koselleck und Michael Jeismann. München, 1994; *Bismarck und der deutsche National-Mythos* / Hrsg. von Lothar Machtan. Bremen, 1994; *Tacke C. Dehkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert*. Göttingen, 1995; *Speitkamp W. Die Verwaltung der Geschichte: Denkmalpflege und Staat in Deutschland 1871—1933*. Göttingen, 1996; *Vogel J. Nationen im Gleichschritt: Der Kult der "Nation in Waffen" in Deutschland und Frankreich 1871—1914*. Göttingen, 1997.

Сейчас во главе ее стоят Ян и Алеида Ассман, чьи книги оказывают все более сильное влияние на публичные дискуссии и готовящиеся к печати исследования.<sup>55</sup>

Наконец, на развитие «немецкой истории второй степени» оказывают влияние (если не напрямую, то опосредованно) новые условия, создавшиеся в результате падения Берлинской стены, объединения Германии и перестройки европейского сообщества. Вновь сделавшись национальным государством, Германия не может не признать необходимости ощутить себя нацией. Причем делает это она в условиях, благоприятных как никогда – не только потому, что «второе объединение Германии» произошло в предельно мирной и демократической форме, но и потому, что впервые за всю свою историю Германия ощутила, что значит идеальное совпадение между политическим представлением о себе самой как о государстве и культурным представлением о себе как о нации. Впервые за долгие годы «немецкий вопрос» не стоит перед Европой и миром. «Чудо» 1989—1990 годов положило конец ситуации, когда, по выражению Рихарда фон Вайцекера, «немецкий вопрос оставался открытым, поскольку Бранденбургские ворота оставались закрытыми». «Берлинская республика» сумела сохранить плоды чистки и денацификации, которые явились одним из главных свершений «республики Боннской». В то же время объединение Германии прекрасно вписалось в более широкие рамки объединения Европы. Все это позволяет сегодня «Берлинской республике» смотреть на немецкое прошлое взглядом критическим, но более мирным и более готовым к вызовам будущего. В самом деле, объединение Германии и создание объединенной Европы позволяют осуществить двойную корректировку подхода к немецкому прошлому: с одной стороны, свободный и ничем не ограниченный доступ к архивам бывшей Восточной Германии позволит получить более взвешенное и четкое представление об истории Пруссии и Саксонии и, шире, о восточном аспекте немецкого прошлого. С другой стороны, есть основания полагать, что начавшаяся (и в некоторых сферах идущая полным ходом) нормализация отношений между Германией, ее восточными соседями и Россией (по модели послевоенного «примирения» с Францией) будет способствовать созданию партнерских отношений между исследователями и сделает наконец возможным мирное совместное изучение общей истории, трагической и трогательной разом. Таким образом, никогда еще, как мне кажется, условия для научного описания немецкой коллективной памяти в ее культурном и национальном измерениях не были столь благоприятны.

Заняв место директора Центра Марка Блока в Берлине, я решил собрать для осуществления этого проекта группу французских и немецких историков, сотрудничающих с нашим Центром. Все члены этой группы, действуя в рамках настоящего франко-немецкого диалога, прагматичного, плюралистичного и эффективного, начали свою работу с оценки того, что было сделано их предшественниками – коллективом под руководством Пьера Нора, работавшим над французскими «Местами памяти». Этому критическому подведению итогов, в котором охотно согласился принять участие сам Пьер Нора, были посвящены, в частности, научная конференция «Нация и эмоция», организованная в октябре 1993 года в Берлине вместе с Центром сравнительного изучения истории общества (Forschungsstelle zur Vergleichenden Gesellschaftsgeschichte) берлинского Свободного университета, и научно-практическая конференция, состоявшаяся в Берлине в мае 1995 года (она была организована Центром Марка Блока совместно с парижской Высшей школой социальных наук)<sup>56</sup>. В итоге всех этих обсуждений исследователи, учитывавшие также опыт других стран,

---

<sup>55</sup> Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 1997; Assmann A. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, 1999.

<sup>56</sup> Материалы конференции «Нация и эмоция» были опубликованы в одноименной книге, указанной в примеч. 2; доклады, обсуждавшиеся в ходе конференции 1995 года, были изданы в сборнике: *Lieux de Mémoire, Erinnerungsorte: d'un modèle français à un projet allemand / Sous la dir. de Étienne François*. Berlin, 1996 [Les Travaux de centre Marc Bloch. № 6].

таких как Нидерланды, Канада, Австрия или Италия<sup>57</sup>, констатировали, что парадигма «мест памяти» (понимаемая в широком смысле как инструмент, позволяющий создавать «символическую историю», «историю второй степени») может быть применена, причем применена с большим успехом, отнюдь не только к Франции. Это был первый вывод, к которому пришли участники конференций; вторым стало признание того факта, что, имея дело с иной национальной историей, невозможно в точности повторить структуру французского проекта и методы работы французских исследователей – необходимо отыскать такой принцип работы и такой тип структурирования материала, который соответствовал бы немецкой специфике.

Работа, которая с самого начала велась – это следует подчеркнуть особо – в рамках франко-немецкого сотрудничества и не замыкалась внутри одной нации, позволила выделить четыре основополагающих принципа, которые должны быть положены в основу исследований и их превращения в печатный текст. Первый принцип – это, разумеется, соблюдение критического отношения к собственному труду: по причинам как политического, так и научного свойства все единодушно признали, что следует любой ценой воспротивиться превращению задуманного предприятия в попытку легитимации современного политического состояния Германии. Работа должна носить сугубо интеллектуальный, исторический характер. Вторым принципом должно быть внимательное (гораздо более внимательное, чем во французском случае) отношение ко всему, что связано со словами, разрывами, конфликтами; этого требует специфика немецкой истории и культуры. В доказательство приведем всего один пример. Среди мест, достойных исследования («мест» как в географическом, так и в символическом смысле слова), одним из первых на ум, естественно, приходит Веймар. Однако Веймар неотделим от Бухенвальда, а сам Бухенвальд связан с памятью о двух противоположных этапах истории: сначала здесь томились в концлагере жертвы нацистского режима, а затем – жертвы режима советского. Третьим принципом должно стать стремление к открытости и плюрализму – открытости хронологической (не следует ограничивать сферу исследования XIX и XX веками, следует, напротив, рассматривать историю от Средних веков до современности), концептуальной (следует учитывать множественность толкований понятия «нация» в Германии, а также почти постоянное несовпадение между политическими формами и культурными реальностями, носящими зачастую весьма субъективный характер) и, наконец, открытости географической (следует учитывать отношения конфликта и дополненности между различными пространственными сферами, к которым принадлежит та или иная личность, – от малой родины (*Heimat*) и земли или княжества до нации и/или Рейха). Наконец, последний принцип, имеющий первостепенное значение, – это необходимость уделять внимание общеевропейскому контексту, по причинам как содержательного свойства (тот факт, что Германия расположена в центре Европы, превращает ее в страну с наибольшим количеством соседей; границы Германии и состав населяющих ее народов постоянно менялись; отсюда – огромная роль таких факторов, как контакты и обмены), так и свойства методологического (следует учитывать ту роль, которую сыграла в построении и эволюции немецкой национальности и идентичности динамика взаимодействия с иностранцами). На практике этот последний принцип должен приводить к выбору в качестве объектов исследования, во-первых, «смешанных мест», таких как Страсбургский собор, являющийся «местом памяти» одновременно для эльзасцев, французов и немцев, или поле битвы при Танненберге («место памяти» разом и немецкое, и польское), а во-вторых – реплик, авторство которых принадлежит иностранцам, «посторонним» – прежде всего таких сочинений, как «Германия» Тацита или «О Германии» мадам де Сталь.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Lieux de mémoire et Identités nationales / Sous la dir. de Pim den Boer et Willem Frijhoff. Amsterdam, 1993; Waar de blanke top der duinen: En andere vaderlandse herinneringen / Ed. N.C.F. van Sas. Amsterdam, 1995; I luoghi della memoria / Ed. Mario Isnenghi. Rome; Bari, 1997.*

<sup>58</sup> См., например: *La Germanie de Tacite et l'originalité allemande // Le Débat. 1994. № 78. P. 42—61.*

Коллективное обдумывание стратегии изучения немецких «мест памяти», осуществлявшееся в первую очередь в ходе упомянутых выше конференций, продолжилось в разработке конкретных тем в рамках семинара, организованного берлинским Свободным университетом. Семинар этот, которыми руководили мы с Хагеном Шульце, начал функционировать зимой 1995/96 года и продолжал свою работу в течение семи семестров, до зимы 1998/99 года. Вместе с группой студентов, увлеченных этой работой и преданных ей, мы изучали теоретические труды, имеющие отношение к «местам памяти», составляли «немецкий» список таких мест (реки и люди, регионы и мифы, Берлин и Рейх) и даже сделали попытку выйти за пределы Германии и заняться памятными местами Европы в целом. Интерес, который эта тематика вызвала у студентов, качество докладов и письменных работ, интенсивность и плодотворность обсуждений позволили убедиться в осуществимости проекта, оценить серьезность предложенных тем и, наконец, исследовать некоторые из этих тем более подробно.

Контакты с участниками семинара и с немецкими и иностранными исследователями, проявившими интерес к нашему проекту, позволили нам с Хагеном Шульце набросать возможный состав будущих сборников; мы постоянно возвращались к этой работе и переделывали ее, потому что стремились выработать такие перечни «мест памяти» и такую структуру книги, которые были бы разом и убедительны, и удобны для читателя. Исходя из наблюдения, сделанного самим Пьером Нора, мы в конце концов остановились на следующем решении: берутся восемнадцать центральных понятий, по большей части непереводаемых (от *Bildung* до *Zerrissenheit*, не говоря уже о *Erbfreind*, *Freiheit*, *Leistung*, *Reich* и *Schuld*), затем вокруг каждого из них выстраивается «гроздь ассоциаций», почерпнутых из различных регистров коллективной памяти и изложенных в пяти-шести статьях. Например, к понятию *Leistung* (выполненная работа, успех, результат, показатели) имеют отношение следующие статьи: «Die D-Mark», «Krupp», «Die Bundesliga», «Die STASI», «Das goldene Handwerk», «Die Hanse». Общий список таких статей включает в себя около сотни позиций; впрочем, каждая статья порождает собственные ассоциации, отсылки и неожиданные выводы (точно так же работает сама память). Таким образом, предложенная структура не замыкает немецкую память в жесткий каркас, но, напротив, сообщает ей форму открытого лабиринта, который разжигает воображение и побуждает к открытиям.

Наконец, летом 1998 года, заручившись поддержкой двух немецких фондов, а главное, получив согласие от мюнхенского издателя Бека, мы начали заказывать статьи авторам, причем обращались не только к известным исследователям и признанным специалистам по той или иной теме, но также к молодым историкам и самым талантливым из участников нашего семинара. Принципиально важным мы считали также привлечение к работе не только немцев, но и иностранцев (их число должно было составлять не меньше 20% от общего числа участников). Эта подготовительная фаза заняла в общем чуть больше полугода, и результат ее превзошел наши ожидания: большинство намеченных нами авторов ответили согласием; общение с ними помогло нам расширить рамки нашего проекта и уточнить его составляющие. Статьи, которые уже сданы, внушают большой оптимизм. Жребий брошен, мы пустились в путь и рассчитываем за ближайшие два года добраться до конечной точки.

В завершение этого короткого рассказа о готовящемся издании я хотел бы привести три цитаты: две из них принадлежат немецким историкам, одна — французскому. Первая заимствована из предисловия к «Краткой истории немецкой идеи *Bildung*» Алеиды Ассман:

В заново объединенной Германии, остро нуждающейся в национальных символах, размышления о национальной памяти важны как никогда: особый путь (*Sonderweg*) Германии, приведший ее к гитлеровскому режиму и его последствиям, делает решение этого вопроса столь же сложным, сколь и неотложным. Освенцим стал национальной катастрофой,

взорвавшей культурную память немцев, и процесс этот не завершился еще и сегодня. Однако неверно было бы думать, что катастрофа эта обрекает немцев на бездейственность памяти; совсем напротив, она побуждает их более пристально и более критично взглянуть на ту сложную роль, которую играла и играет культурная память в немецкой истории.<sup>59</sup>

Вторая цитата – отрывок из столь же проницательной, сколь и побуждающей к дальнейшим разысканиям книги моего друга и соратника Хагена Шульце «Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte?». Книга эта, опубликованная всего за несколько месяцев до падения Берлинской стены, заканчивалась следующим утверждением: «Только включение в европейский контекст возвратит немецкой истории то, чего ей недостает как истории национальной: особость и преемственность».<sup>60</sup>

И, наконец, третья цитата, перекликающаяся со второй, принадлежит, как и следовало ожидать, Марку Блоку. Он любил повторять: «Истории Франции не существует; существует лишь история Европы». Разве можно сомневаться в том, что мысль эта, которая никогда не звучала так актуально, как сегодня, еще больше подходит к истории Германии?

---

<sup>59</sup> Assmann A. Op. cit. P. 2.

<sup>60</sup> Schulze H. Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte. Berlin, 1989. S. 70.

## **Тони Джадт «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память?**

### **I**

Когда вы едете на машине по прекрасным скоростным автомагистралям Франции, изумительно вписанным в окрестный ландшафт, невозможно пропустить необычные указатели, отстоящие друг от друга на небольших промежутках. Заметные, но при этом не вызывающие раздражения, выдержанные в теплых, мягких тонах, эти щиты установлены парами: сначала вы видите указатель, на котором помещены два или три символа – достаточно наглядные и занимательные, чтобы привлечь к себе внимание автомобилиста, но все же требующие некоторого дополнительного объяснения – гроздь винограда или стилизованное изображение горы или замка. Затем, примерно через километр – расстояние как раз достаточное, чтобы сидящие в машине задались вопросом, что бы это значило, – появляется второй такой же щит, на котором сообщается, что вы проезжаете мимо виноградников Бургундии, Реймского собора или горы Св. Виктории. И действительно, слева или справа от дороги (стрелка на втором указателе покажет вам, куда надо смотреть) видны виноградники, готический шпиль или живописный холм, знакомый нам по картинам Сезанна. Далеко не всегда за этими указателями последует ответвление главной дороги – их цель вовсе не в том, чтобы помочь вам добраться до изображенной на них достопримечательности, и уж тем более не в том, чтобы рассказать вам о ней. Эти щиты поставлены, чтобы рассеять дорожную скуку, подсказать современному путешественнику, через какие места он, сам того не зная, проезжает. Ирония состоит в том, что узнать об этом вы сможете, лишь двигаясь по скоростной магистрали, надежно отгороженной от окружающего ландшафта.

Кроме того, эти указатели намеренно и недвусмысленно назидательны: они рассказывают вам об историческом прошлом Франции или о ее настоящем, неразрывно связанном с этим прошлым (о виноделии, например), так чтобы у вас создалось вполне определенное представление об этой стране. «Да! Да, конечно! – говорим мы. – Поля сражений под Верденом, римский амфитеатр в Ниме, пшеничные поля области Бос...» Размышляя о богатстве и многообразии этой страны, о ее древних традициях и об испытаниях, выпавших на ее долю в XX веке, у нас в сознании возникает определенный образ, общие с другими людьми воспоминания о Франции. На скорости свыше 100 километров в час мы движемся по Музею истории Франции – сама Франция стала для нас таким музеем.

Франция, конечно, уникальна в этом отношении. Но не одна она превратилась в огромный музей под открытым небом. Все мы живем в эпоху постоянных юбилеев и годовщин. По всей Европе и Америке воздвигнуты мемориалы, памятные доски, открыты музеи и исторические центры – все это создано для того, чтобы напомнить нам о нашем наследии. В этом нет ничего принципиально нового: в Греции, на месте битвы при Фермопилах, на памятнике царю Леониду (памятник воздвигнут в 1955 году) можно прочесть древнегреческий текст, обращенный к путнику с призывом сохранить память о героическом подвиге трехсот спартанцев, погибших в сражении с персами в 480 году до н. э. В Англии существует древняя традиция отмечать память не только побед, но и поражений – от поражения англосаксов в битве при Гастингсе (1066) до эвакуации английских войск, блокированных немцами в районе Дюнкерка в 1940 году. Город Рим – это огромный музей под открытым небом: на его

улицах и площадях перед нами проходит вся история западной цивилизации. История США окружает нас повсюду в Америке – от колониального Вильямсбурга до Маунт-Рашмор.

Так было всегда, но в наши дни появилось и нечто новое. Мы отмечаем гораздо больше памятных дат, мы спорим друг с другом о том, какие события в нашей истории следует отмечать и как их нужно отмечать. До самого последнего времени (по крайней мере в Европе) весь смысл музея, мемориальной доски или памятника состоял в том, чтобы напомнить людям о том, что они и без того знают сами (или думают, что знают). Сегодня, однако, все эти вещи служат другим целям. Музеи и памятники теперь создаются для того, чтобы рассказать людям о вещах, о которых они могут ничего не знать, совершенно забыли или вовсе никогда не слыхали. Все сильнее нас охватывает страх, что мы забудем свое прошлое, что оно исчезнет, затеряется в суете настоящего. Мы отмечаем память об утраченном мире – иногда еще до того, как его утратим.

Воздвигая памятники или создавая копии предметов старины, мы рискуем еще больше забыть о прошлом: созданный нами символ или законсервированные руины подменяют собой прошлое. Мы тешим себя иллюзией, что сохраняем прошлое, в то время как его подлинный смысл ускользает от нас, оставляя нам лишь сувенир на память. Вспоминаются слова Джеймса Янга: «Как только мы заключаем память в монументальные формы, мы в определенной степени снимаем с себя обязанность помнить... Ошибочно полагая, что наши памятники всегда будут с нами, чтобы напоминать нам о прошлом, мы уходим прочь от них и возвращаемся, лишь когда нам заблагорассудится». Кроме того, памятники – воинские мемориалы, например, – со временем сливаются с окружающим ландшафтом, становятся частью прошлого – вместо того, чтобы напоминать нам о нем.<sup>61</sup>

В Соединенных Штатах об этих проблемах вспоминают, когда разгорается очередная «война памяти». Кто имеет право определять содержание и оформление музейной экспозиции, устанавливать мемориальную доску или знак, решать, какой смысл несет для потомков поле сражения? Эти стычки – всего лишь часть той борьбы, которую ведут в сфере культуры разные группы населения за свое самоопределение, свое самосознание – национальное, региональное, языковое, религиозное, расовое, этническое, половое. В Польше или в Германии споры о том, как следует отмечать память о недавнем историческом прошлом, привели в итоге к тому, что общество этих стран с обостренным, болезненным вниманием обратилось к теме уничтожения европейских евреев – спланированного в Германии и проведенного в жизнь в концентрационных лагерях на польской земле. Вместо ностальгических воспоминаний о героическом прошлом мемориальные акции, посвященные этим событиям, намеренно пробуждают скорбь и гнев. Некогда эти памятные торжества были проверенным средством, вызывающим у людей ощущение единства, воспитывающим чувство сопричастности к жизни своей «малой родины», своей страны, своего народа. Теперь же они стали одним из основных поводов к расколу в обществе, как это произошло во время недавнего обсуждения вопроса о том, нужно ли воздвигать памятник жертвам Холокоста в Берлине.

Историкам принадлежит ключевая, но не вполне понятная роль в этих процессах. Не следует излишне противопоставлять историю и память: задача историков не исчерпывается сохранением от имени всего общества памяти о прошлом, – однако этим они тоже должны заниматься. Говоря словами Милана Кундеры, простое сохранение памяти – это тоже одна из форм забвения, и в конечном счете именно историки должны исправлять ошибки людской памяти<sup>62</sup>. Так, например, недавно в Ницце на одной из центральных улиц города были повешены новые таблички с названием «Проспект Жуана Медесина, консула Ниццы, 1928

---

<sup>61</sup> Young J. E. *The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning*. Cornell, 1993. P. 5. См. также: *Sherman D. Art, Commerce and the Production of Memory in France after World War I // Commemorations: The Politics of National Identity* / Ed. by John R. Gillis. Princeton, NJ., 1994. P. 186—215.

<sup>62</sup> Kundera M. *Testaments Betrayed: An Essay in Nine Parts*. N.Y., 1995. P. 128.

—1965». Перед нами – политически корректная попытка напомнить прохожим о том, что жители этого французского города некогда говорили на напоминающем итальянский язык провансальском диалекте, и тем самым подчеркнуть особый характер Ниццы. Однако Жан Медсэн, мэр города Ниццы с 1928 по 1965 год, не проявлял никакого интереса к местным диалектам и обычаям Прованса, никогда не писал свое имя или должность в старинной провансальской орфографии – подобно большинству своих избирателей, он ощущал себя французом и общался на французском языке. Перед нами всего лишь один пример из целого ряда подобных случаев, когда происходит подмена прошлого во имя вполне конкретных потребностей сегодняшнего дня – здесь историк по крайней мере может помочь восстановить истину.

Таким образом, историки действительно имеют дело с памятью. В силу нашей профессии мы давно уже занимаемся критикой и исправлением официальной, публичной памяти о прошлом, которая решает свои особые задачи. Более того, при написании современной истории или истории недавнего прошлого память является бесценным источником. Она не просто вносит дополнительные детали и формирует нашу точку зрения – сама история складывается из ответов на вопросы: что сохраняется в памяти общества? что передается забвению? каким целям служат воспоминания о прошлом? Так, Саул Фридлендер написал книгу, посвященную истории евреев в нацистской Германии, опираясь на воспоминания – свои собственные и воспоминания других людей. Задавшись вопросом: какого рода воспоминания сохранили французы о годах оккупации и режиме Виши и что из этой эпохи оказалось забыто, – Анри Руссо рассказал о всей истории послевоенной Франции. В его исследованиях память стала действующим лицом истории, в то время как сама история в какой-то мере предстала перед нами в своей более древней роли – особого мнемонического приема, с помощью которого удастся сохранять память о вещах.<sup>63</sup>

Таким образом, когда французский историк Пьер Нора проводит строгое различие между «памятью», которая «поднимается из глубин прошлого, исходит от тех групп, которые она помогает объединить», и «историей», которая «принадлежит всем и не принадлежит никому и потому имеет универсальное предназначение», то на первый взгляд кажется, что он слишком далеко заходит в этом противопоставлении. Разве все мы не согласны с тем, что невозможно провести четкую грань между объективным и субъективным способом познания прошлого, что подобное деление – лишь пережиток прошлого, доставшийся нам от старого, достаточно наивного подхода к историческому исследованию? Почему же в таком случае руководитель самого известного и авторитетного современного исследования, посвященного проблеме исторической памяти нации, начинает свое введение с того, что настойчиво утверждает столь строгое различие?<sup>64</sup>

Чтобы понять подход Пьера Нора и общекультурное значение массивного многотомного (три части, семь томов, 5600 страниц!) издания под общим названием «Места памяти», главным редактором которого он был с 1984 по 1992 год, мы должны снова обратиться к Франции и ее уникальному прошлому<sup>65</sup>. Франция не только старейшее национальное государство в Европе с многовековой историей сильной центральной власти, давно сформировавшимся национальным литературным языком и административным аппаратом, восходящим по крайней мере к XII веку, – по сравнению с другими государствами Западной Европы эта страна дольше других сохраняла свой древний облик. Ландшафт Франции, характерный уклад жизни деревенской общины, повседневные занятия и быт ее провинциальных городов

<sup>63</sup> Friedländer S. Nazi Germany and the Jews. N.Y., 1997. Vol. I: The Years of Persecution, 1933—1939; Rousso H. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge, Mass., 1991.

<sup>64</sup> Nora P. General Introduction: Between Memory and History // Realms of Memory: The Construction of the French Past / Ed. by Pierre Nora; English-language edition ed. by Lawrence D. Kritzman; trans. by Arthur Goldhammer. N.Y., 1996. Vol. I. P. 3.

<sup>65</sup> Les Lieux de mémoire / Ed. Pierre Nora. Paris, 1984—1992. T. I: La République; T. II: La Nation; T. III: Les Francs.

и сел в гораздо меньшей степени были затронуты влиянием промышленности, современных средств транспорта и коммуникации, социальными и демографическими изменениями, нежели это было в Великобритании, Германии, Бельгии, Италии или любой другой стране западного мира.

Точно так же и политическое устройство Франции – структура административного аппарата на уровне всей страны и ее отдельных областей, отношения между центральной и местной властью, иерархия органов управления в сфере юстиции, налогов, культуры, образования, от Парижа и до самого маленького поселка, – все это почти не менялось на протяжении столетий. Конечно, Великая французская революция уничтожила политические формы Старого Порядка. Однако их авторитарное содержание и дух были воссозданы во времена империи и республики верными наследниками монархии Бурбонов, начиная с Робеспьера и Наполеона Бонапарта и кончая Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном.

Череда политических смут и волнений XIX века не оставила глубоких следов в повседневной жизни большинства французов. Даже противостояния правых и левых, монархистов и республиканцев, коммунистов и голлистов с течением лет постепенно сглаживались в национальном политическом и культурном ландшафте. Подобно отложениям горных пород, наслоения идеологических баталий былых времен стали частью общего прошлого страны. Как заметил Филипп Бюррен, «Франция всегда стремилась к тому, чтобы осмыслить свои внутренние конфликты в исторической перспективе и представить свою историю в категориях борьбы».<sup>66</sup>

Однако в 1970-х – начале 1980-х годов вся эта конструкция, которую с любовью называли *la France profonde* (глубинная Франция), *la douce France* (сладостная Франция), *la bonne vieille France* (добрая старая Франция), *la France éternelle* (вечная Франция), стала, по мнению самих французов, разваливаться на глазах. Модернизация сельского хозяйства в 1950–1960-х годах, миграция крестьянских сыновей и дочерей в города постепенно привели к оскудению и запустению сельской местности – несмотря на то что товарной продукции деревня стала производить гораздо больше. Большие и малые города страны, пребывавшие до тех пор в сонной атмосфере заброшенности и хронического недостатка средств, пробудились к жизни, заполнились людьми, ключом забила деловая активность. Оживление национальной экономики вызвало глубокие изменения в структуре занятости нового класса городских жителей, характере и маршрутах их поездок, способах проведения досуга. Десятилетиями зараставшие травой железные и автомобильные дороги Франции были отремонтированы, перестроены или полностью заменены новой сетью магистралей национального значения.

В трудные послевоенные годы первые перемены были еще не так заметны. Изменения начали нарастать в 1960-х – эпоху всеобщего процветания и оптимизма. По-настоящему последствия этого переворота стали ощутимы только десятилетие спустя – до того момента люди обращали внимание на приобретения, но не на потери. Однако к 1970-м годам французы с тревогой и растерянностью стали оглядываться назад в прошлое, которое большинство взрослых людей еще застало в своем детстве и которое теперь исчезало на глазах. Это чувство утраты совпало по времени с распадом другой неотъемлемой черты всего уклада жизни в стране, черты, доселе казавшейся вечной, – политической культуры, заложенной еще Великой французской революцией. Благодаря усилиям историка Франсуа Фюре и его коллег Революция была свергнута со своего пьедестала – она перестала служить мерилom прошлого и будущего французской нации, определять политическое самосознание ее граждан. На этом фоне в 1970-х годах постепенно закатилась и звезда Французской коммунисти-

---

<sup>66</sup> Burrin P. Vichy // Realms of Memory. Vol. I. P. 182.

ческой партии, утратившей свой авторитет и голоса избирателей. Марксизм тоже потерял привлекательность в глазах интеллигенции.

На президентских выборах 1981 года победил кандидат от социалистической партии, однако уже в течение первых двух лет своего пребывания на этом посту Франсуа Миттеран отказался от всех основных принципов традиционного социализма – от обещаний достойно завершить революционные преобразования, начатые левыми в 1792 году, приверженность которым во многом и помогла ему прийти к власти. В 1970 году умер Шарль де Голль, чья харизматическая личность объединяла вокруг себя правых. Традиционный альянс между консервативными силами и католической церковью тоже оказывался изрядно подточенным по мере того, как население Франции утрачивало интерес к религиозной жизни: некогда усердные прихожане переселялись из небольших населенных пунктов в крупные города, где быстро забывали дорогу в церковь. К началу 1980-х годов были подорваны самые основы французской общественной жизни.

Наконец, и с большим опозданием, французы осознали, что их страна перестала занимать лидирующее положение на международной арене, – так, по крайней мере, утверждает Пьер Нора<sup>67</sup>. Перестав быть великой державой, Франция потеряла и статус ведущей силы в регионе – этому помешало неуклонное возрастание роли Западной Германии. Все меньше и меньше людей в мире владело французским языком – экономическое и культурное господство США и вступление Великобритании в Европейский союз означали, что в итоге весь земной шар будет говорить по-английски. С политической карты мира исчезали последние французские колонии, а возродившийся в 1960-х годах интерес к локальным и региональным наречиям и культурам, казалось, угрожал целостности и единству самой Франции. В то же самое время другое наследие 1960-х годов – требование пролить свет на самые темные стороны национального прошлого – стимулировало растущий интерес к истории режима Виши 1940—1944 годов, память о котором, ради достижения национального примирения, стремились предать забвению де Голль и его современники.

Напуганным современникам казалось, что перед ними разворачивается единый процесс, все части которого как-то связаны между собой: Франция одновременно модернизировалась, уменьшалась в размерах, раскалывалась на части. В то время как Франция, скажем, в 1956 году в своих основных чертах оставалась достаточно схожей с Францией образца 1856 года, вплоть до поразительного сходства карт географического распределения политических и религиозных пристрастий населения, – Франция образца 1980 года почти ничем не напоминала страну десятилетней давности. В ней не осталось ничего прежнего: никаких преданий старины, никакой прошлой славы, никаких крестьян. В «Местах памяти» это чувство прекрасно передал с печальной иронией Паскаль Ори. В разделе, озаглавленном «Гастрономия», он пишет: «Неужели из всего, что некогда было с нами и что теперь оказалось совсем забыто, уцелела лишь французская кухня?»<sup>68</sup>

Амбициозный проект Пьера Нора появился на свет в эпоху сомнений и растерянности. Его замысел даже подчеркивал неотложность поставленной задачи – ведь все прочно утвердившиеся в общественном сознании основы того, что называлось Францией, исчезали день ото дня, незыблемый порядок вещей, существовавший при дедах и прадедах, уходил в прошлое. То, что некогда было повседневностью, бытом, превращалось в историческую достопримечательность. Многовековой уклад жизни Франции – от типов полей до церков-

---

<sup>67</sup> «Во Франции... особая выраженность этого феномена (коммеморации, стремления к сохранению памяти. – Т.Дж.) связана не столько с какими-то конкретными событиями, сколько с поразительным богатством французской истории, с глубиной разрыва с прошлым во время Революции и с постоянным перемалыванием собственного прошлого, чем постоянно занимается страна, чувствующая, что ее вытеснили из круга великих держав» (*Nora P. The Era of Commemoration // Realms of Memory. Vol. III. P. 610*).

<sup>68</sup> *Ory P. Gastronomy // Realms of Memory. Vol. II. P. 443.*

ных процессий, от передававшихся из поколения в поколение воспоминаний о жизни своей деревни до запечатленной в слове и камне официальной истории страны – все это пропадало на глазах. Этот уклад еще не стал историей, но он уже перестал быть неотъемлемой частью коллективного опыта нации.

Налицо была настоятельная потребность запечатлеть этот момент, сохранить образ Франции, с большим трудом переводящей свое прошлое из сферы живого, личного опыта в разряд истории, определить в исторических категориях целый ряд национальных традиций, которые отмирали на глазах. «Места памяти (*lieux de mémoire*), – как отмечает Пьер Нора в своей ввводной статье к многотомнику, – существуют потому, что они перестали быть средой памяти (*milieux de mémoire*), пространством, в котором память является неотъемлемой частью повседневного существования людей». Что же такое «места памяти»? «<Они>, в сущности, есть не что иное, как следы... обряды, сохранившиеся в культуре, где не осталось никаких ритуалов, мимолетные вторжения сакральных сил в мир, где больше не действуют законы магии, осколки местечковых привязанностей и симпатий в обществе, решительно избавляющемся от любых проявлений местечковости».<sup>69</sup>

«Места памяти» – выдающееся исследование, очень французское по своему духу. С 1984 по 1992 год Пьер Нора координировал усилия почти ста двадцати ученых, в большинстве своем французов, почти все они были профессиональными историками. Перед ними Нора поставил задачу запечатлеть в 128 статьях то, что представляет собой (или чем была раньше) Франция. Критерии отбора сюжетов менялись с течением времени. В первой из опубликованных частей речь шла о «Республике» – о символах, монументах, юбилеях и памятных торжествах, педагогических приемах, с помощью которых в XIX–XX веках во Франции утверждалась идея республики (например, статья о парижском Пантеоне). Вторая часть, в три раза превышающая первую по объему, была посвящена «Нации». Она затрагивает самые разные вопросы – от географии и историографии до символов и материальных воплощений национальной славы (например, Верден и Лувр), значения языка и литературы в истории страны (Французская академия), а также образов, связанных с государственной властью (Версаль, национальная статистика). Третья часть – «Франции» – больше двух первых частей, вместе взятых, и содержит в себе почти все, что может быть как-то связано с Францией и что не вошло в первые две части.

Таким образом, к 1992 году издание вышло из своих первоначальных берегов и приобрело энциклопедический характер. Ушел и единый методологический подход, характерный для первых двух частей. Показательно введение Пьера Нора к английскому переводу этой работы, заметно отличающееся от его же вступительной статьи в первом томе французского издания, опубликованном двенадцатью годами ранее. «Место памяти (*lieu de mémoire*), – пишет теперь Нора, – это любое значимое явление, вещественное или нематериальное по своей природе, которое по мановению человеческой воли или под воздействием времени приобрело статус символа в мемориальном наследии того или иного сообщества (в данном случае, – французского народа)». В таком случае трудно придумать что-то – слово, место, имя, событие или идею, – что не подходило бы под это определение. Как заметил один иностранный рецензент: «К концу книги читатель-иностранец теряет нить повествования. Есть ли во Франции хоть что-то, что не было бы „местом памяти“?»<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Nora P. *Between Memory and History*. P. 3, 6–7.

<sup>70</sup> «En fin de parcours, le lecteur étranger perd le fil. Qu'est-ce qui n'est pas lieu de mémoire?» (*Boer P. den. Lieux de mémoire et l'identité de l'Europe // Lieux de mémoire et identités nationales / Eds. Pim den Boer et Willem Frijhoff. Amsterdam, 1993. P. 17*). См. также: Nora P. *Preface to the English-Language Edition // Realms of Memory. Vol. I. P. xvii*.

## II

Пьер Нора всегда настаивал на том, что его проект задуман как исследование, направленное против таких исторических сочинений, которые служат лишь прославлению памяти о том или ином событии или выдающемся деятеле. Труд Нора и его коллег был призван запечатлеть, проанализировать и опровергнуть различные исторические мифы, вымыслы и воспоминания «о том, чего не было». Однако, как с горечью замечает Нора в заключительной статье последнего тома, эта работа обрела странную судьбу – воспевание прошлого одержало в ней победу и теперь уже само исследование стало «местом памяти» в науке. Тому было несколько причин.

Во-первых, Пьер Нора является очень крупной фигурой в интеллектуальной жизни Франции, и к реализации главного дела своей жизни он привлек лучших французских специалистов. Каждая из статей монументального издания «Мест памяти» представляет собой маленький шедевр, значительный вклад в изучаемую проблему. Соответственно, эти несколько томов приобрели статус фундаментального справочного издания – со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками.<sup>71</sup>

Во-вторых, к моменту вызревания замысла Нора распался давно сложившийся «канон» событий, имен и памятников истории Франции – исчезло единство мнения по поводу того, *что и почему* следует считать национальным наследием. Это как раз тема творчества Пьера Нора. С его точки зрения, «разрушение объединяющих нацию государственных структур подорвало всю совокупность традиций, которая служила обобщенным символическим выражением этого государства. Нет больше „коммеморативного супер-эго“: канон исчез». Соответственно, сегодня все, что угодно, может занять место некогда тщательно оберегаемого в силу своей воспитательной и эстетической ценности национального наследия, стать основой для публичных воспоминаний, претендовать на то, чтобы память о нем сохранялась в потомстве.<sup>72</sup>

Этот процесс заметно ускорился в 1988 году благодаря усилиям Джека Лана, министра культуры в правительстве Миттерана. По политическим мотивам он дополнил список охраняемых государством памятников «культурного наследия» Франции (который раньше ограничивался такими достопримечательностями, как Пон дю Гар или крепостные стены XIII века в Эг-Морт) детскими яслями, организованными в Провансе в XIX веке, или мраморной стойкой бара в Café du Croissant, за которой лидер социалистов Жан Жорес выпил последнюю в своей жизни чашечку кофе перед тем, как пасть от руки убийцы в июле 1914 года. Вполне в духе эпохи постмодернизма потрескавшийся от времени фасад Hôtel du Nord на парижской Набережной туманов был также внесен в перечень объектов, входящих в состав национального наследия, – в память о популярном в свое время одноименном фильме Марселя Карнэ (при том, что сам фильм был полностью снят в павильоне киностудии).

Подобное «обретение» случайно скомпонованных вместе объектов, память о которых должна сохраняться у новых поколений французов, как нельзя лучше свидетельствует о том, что связь времен, связь воспоминаний в рамках доселе единой культуры действительно прервалась. Пьер Нора безусловно прав, указывая на этот разрыв как на причину, подвигнувшую его на создание «Мест памяти». Однако то, что было новаторством в 1980-х годах, сегодня является общим местом, стало привычным рефреном в исследованиях, посвящен-

---

<sup>71</sup> П. Нора, помимо своей научной известности, является главным редактором издательства Gallimard, ведущего издательского дома Франции, и отвечает за содержание Le Débat – одного из самых влиятельных периодических изданий страны, ориентированного на читателя-интеллектуала. Некоторых из сотрудников редакции П. Нора привлекает к своему проекту.

<sup>72</sup> Nora P. The Era of Commemoration. P. 614.

ных памяти и традиции в изменяющихся обществах. Парадоксальный результат героических усилий Пьера Нора по воссозданию и запечатлению исторической памяти Франции состоит в том, что его труд воспринимается теперь не столько как толчок к поиску новых подходов в этой области, сколько как предмет поклонения, как «достопримечательность», заслуживающая внимания туриста.

Третья причина странной судьбы этого проекта состоит в том, что, несмотря на многие гениальные догадки, высказанные в статьях самого Пьера Нора, исследование в целом носит достаточно неопределенный характер. Начавшись в меланхолическом ключе как самоанализ французской нации, оно, тем не менее, заканчивается вполне традиционно, почти в духе самовосхваления: «В этих символах мы действительно открываем для себя „места памяти“ во всем их величии»<sup>73</sup>. Возможно, эта смена тональности верно передает перемену в настроении французского общества, произошедшую с тех пор, как Пьер Нора приступил к реализации своего замысла. Чувство утраты сменилось гордостью, окрашенной в ностальгические тона. Тем не менее остается лишь удивляться тому, что в историческом исследовании столь отчетливо проявилась эмоциональная привязанность авторов к объекту исследования. Пьер Нора всегда твердо настаивал на том, что его проект не должен превратиться в «туристическую прогулку по садам прошлого» (*promenade touristique dans le jardin du passé*)<sup>74</sup>, однако это как раз то, во что рискует превратиться его многотомное издание.

Вдобавок некоторые уголки этого «сада» неизбежно оказались обойдены вниманием историков, несмотря на усилия главного редактора охватить взглядом всю панораму. Так, ни в одном из томов «Мест памяти» нет статей ни о Наполеоне Бонапарте, ни о его племяннике Луи Наполеоне, ни даже о политической традиции бонапартизма. Это более чем странный пропуск! Как заметил в «Замогильных записках» Франсуа де Шатобриан по поводу анахроничной коронации Карла X в 1824 году: «С тех пор фигура императора заслоняет собою все остальное. Она просматривается за каждым событием, за всякой мыслью: страницы нашего низменного века блекнут, как только на них упадет тень его орлов»<sup>75</sup>. Шатобриан не был беспристрастным наблюдателем, а мы живем не в 1824 году, но его суждение сохраняет свою силу – плохо это или хорошо, но повсюду во Франции мы встречаем наследие Бонапарта. От Собора инвалидов до Триумфальной арки, от Гражданского кодекса до периодических заигрываний Франции с генералами, рвущимися в большую политику, от недоверия республиканцев к сильной исполнительной власти до создания архивов в департаментах – дух Наполеона все еще жив в этой стране.

Точно так же каждый человек, приезжающий сейчас в Париж, наслаждается плодами (или становится жертвой) амбициозных замыслов Луи Наполеона и его Второй империи. Лувр, каким мы его знаем, – это Лувр Луи Наполеона, во что бы ни стремился его превратить Франсуа Миттеран. Планировка парижских улиц и транспортная сеть возникли под воздействием имперских притязаний, пусть многие из них так и не были реализованы. В случае Луи Наполеона пренебрежение его личностью и его режимом, столь явно выраженное в работе Пьера Нора и его коллег, возможно, отражает и более общую тенденцию – города, городская застройка, урбанизация в целом почти не интересуют авторов данного издания. Возможно, это объясняется тем, что все их внимание занимает давний роман Франции со своим крестьянством, со своей землей, который они и пытаются запечатлеть.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> *Idem*. Introduction to Volume III // *Realms of Memory*. P. xii.

<sup>74</sup> *Idem*. La notion de “lieu de mémoire” est-elle exportable? // *Lieux de mémoire et identités nationales*. P. 9.

<sup>75</sup> Цит. по: *Le Goff J.* Reims, City of Coronation // *Realms of Memory*. Vol. III. P. 245.

<sup>76</sup> Прекрасный пример исследования города как «места памяти» (или забвения) можно найти в работе: *Schaepdrijver S.* de Bruxelles, “lieu sans identité” ou le sort d’une capitale incertaine, voué à l’imitation // *Lieux de mémoire et identités nationales*. P. 90: «Le sort de Bruxelles est, je crois, exemplaire de ce qui se passe lorsqu’une ville devient lieu d’oubli, lieu d’une course à la modernité qui n’est freinée par nul instinct de conservation (car au nom de quoi conserverait-on?)» [Судьба Брюсселя представля-

Ни одно исследование, посвященное «местам памяти» Европы в целом, не сможет обойтись без раздела о Наполеоне Бонапарте – о его военных кампаниях, его законах, причиненных его войсками разрушениях и грабежах, о том влиянии, которое он, сам того не желая, оказал на национальное движение в Нидерландах, Италии, Германии. «Бони схватит тебя, если ты все не съешь! (...не заснешь сейчас же!)» – так грозили непослушным детям во многих областях Англии и Испании, о чем еще и сейчас помнят старики. Отсутствие Наполеона в многотомном издании Пьера Нора лишний раз напоминает нам о том, насколько эта работа замыкается на Франции, вплоть до пробелов и умолчаний, которые в ней можно найти<sup>77</sup>. В своем исследовании Пьер Нора не раз подчеркивает, что Франция не только совершенно уникальна – ее избранность нельзя передать никакими словами. «История Франции, – как мы узнаем из его статей, – самая сложная и трудная из истории всех европейских стран»<sup>78</sup>. Неужели? Что же тогда говорить о Германии или России? Или о Польше?

Только Франция – как нас хотят уверить – может похвалиться исторической памятью, достойной замысла этого многотомного издания. Более того, с точки зрения Пьера Нора, «Франция – это... „нация памяти“ в таком же смысле, в каком евреев, многие столетия лишенных своей земли и своего собственного государства, называют народом памяти. Благодаря этому они и выжили, такими они и вошли в историю». И чтобы уж у читателя не оставалось никаких сомнений: только по-французски, по всей видимости, можно говорить о «местах памяти»! «Ни в английском, ни в немецком, ни в испанском языке нельзя подыскать подходящего выражения. Не показывает ли сама трудность в переводе этого выражения всю необычность этой страны и ее прошлого?»<sup>79</sup> Согласно мнению Марка Фюмароли, выраженному в его статье «Гений французского языка», эта лингвистическая особенность связана с французской риторической традицией, унаследованной прямо из латыни. Италия, вероятно, тоже имеет некоторые права на латинское наследие – но, может быть, ей «не хватает» достаточно сложной и трудной истории? Интересно, что бы на это ответили итальянцы? – *Magari!* («О, если б так!» – во французском языке нет достаточно близкого эквивалента этому слову!)

Многотомник «Места памяти» позволяет читателю познакомиться с целым рядом работ ведущих французских историков – статьями Жака Ревеля о французском королевском дворе, Моны Озуф о «свободе, равенстве и братстве», Жана-Пьера Бабилона о Лувре, Алэна Корбена о «пространственных и временных делениях», Марка Фюмароли о «гении французского языка» и многими другими. Исследования Ж. Ревеля и А. Корбена придают изданию особый научный авторитет. Этих авторов – один из которых является директором Школы высших исследований в области общественных наук (École des Hautes Études en Sciences Sociales) и многие годы возглавляет редакцию журнала «Анналы», а другой руководит ведущей исторической кафедрой во Франции – отличает легкий и изящный стиль изложения. Алэн Корбен, занимавшийся самыми разными проблемами – от причин экономической отсталости Лимузена до истории проституции, – приводит множество интересных примеров меняющихся пространственных и временных делений. Жак Ревель еще раз воспроизводит ставшее уже каноническим повествование о придворной жизни во Франции в раннее новое время, однако он проделывает это с таким мастерством, пробуждает такое мно-

---

ется мне замечательным образом того, что происходит с городом, когда он становится местом забвения, – его захлестывает лихорадка модернизации, не ограниченная инстинктом сохранения. Ведь во имя чего стоит сохранять?»).

<sup>77</sup> Хотя некоторые участники этого проекта, в частности Паскаль Ори, активно пытаются использовать методы сравнительного исследования. Как пишет Ори, «бессмысленно приводить новые гастрономические примеры, вырывая их из контекста галльских или галло-римских источников, если, конечно, не удастся показать, что другие народы чем-то отличались в этом отношении» (*Ory P. Gastronomy*. P. 450).

<sup>78</sup> *Nora P. Generation // Realms of Memory*. Vol. I. P. 528.

<sup>79</sup> *Idem*. Introduction to Volume III // *Realms of Memory*. P. xii; см. также: La notion de “lieu de mémoire” est-elle exportable? // *Lieux de mémoire et identités nationales*. P. 4: «Ni l’anglais, ni l’allemand ni l’espagnol ne peuvent lui donner d’équivalent satisfaisant. Cette difficulté à passer dans d’autres langues n’indique-t-elle pas déjà une manière de spécificité?»

жество ассоциаций, так глубоко раскрывает значение двора в истории страны, что читатель заново открывает для себя хорошо знакомые сюжеты. Даже не вполне удавшиеся работы (например, статья Антуана Компаньона, посвященная роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» – исключительно проницательному, полному внутренних аллюзий шедевру французской литературы, в котором исследуются свойства человеческой памяти) легко читаются и полны интересных наблюдений. Пожалуй, самое впечатляющее достижение этого проекта – то, что всем его авторам в той или иной мере удалось раскрыть определенный круг тем, принципиально значимых для понимания Франции и ее исторического прошлого.

Так, авторам удалось показать всю глубину и неразрывное единство истории страны (800 лет по самым скромным оценкам), а также связанную с этим давнюю традицию государственной централизации. При этом речь идет не только о политических структурах как таковых, но и о хорошо известном стремлении всех лиц, стоявших во главе французского государства, какова бы ни была их идеология, добиваться для себя всей полноты верховной власти. Например, говоря о Реймском соборе – традиционном месте коронации французских монархов – Жак Ле Гофф замечает: собор представляет собой настоящий шедевр «классической» готики, а «во французской истории уже само определение „классический“ часто указывает на установление идеологического и политического контроля» (статья, посвященная Реймсу).<sup>80</sup>

Тяга к классификации, регулированию всего и вся – от торговли и языка до театра и продуктов питания – это как раз то, что связывает во Франции сферу публичной политики и общественной жизни с характерными стилями воспитания и поведения человека в пространстве культуры. Так, не случайно в известном справочнике-путеводителе для туристов издательства Michelin, посвященном культурному наследию Франции («зеленая книжечка»), все достопримечательности Франции делятся на три категории: «интересные», «заслуживающие остановки во время экскурсии», «заслуживающие отдельной поездки». Путеводитель Michelin из этой же серии, посвященный сфере обслуживания («красная книжечка»), придерживается такого же точно деления применительно к ресторанам. Оба издания заимствовали этот характерный способ классификации из «классической» французской риторики и философии, откуда его также восприняли теория драматургии и политическая теория. Как замечает Паскаль Ори, «во Франции „кодификация“ сама по себе уже является „местом памяти“».

Другое такое «место памяти» – религия. Католицизм настолько давно и прочно утвердился во Франции, что сам Пьер Нора без колебаний рассматривает его, вместе с монархией и крестьянством, как самую сущность французского духа. Все разделы «Мест памяти», посвященные религии, очень информативны, написаны с большой силой и глубиной проникновения. Клод Ланглуа заходит еще дальше, чем Пьер Нора, заявляя: «В том, что касается монументальных памятников, вывод очевиден: Франция – либо страна католическая, либо светская. Середины не дано». Возможно, с этим согласился бы Андре Вошез, написавший прекрасную статью о соборах – настолько беззаветно он предан своему предмету. В наш меркантильный век Вошез выступает защитником глубокого символического смысла и трансцендентного характера великих соборов Франции. Однако, чтобы не нарушать общий тон всего издания, Вошез ограничивается лишь цитатой из Марселя Пруста: «Соборы не только прекраснейшее украшение нашего искусства – это единственное, что еще сохраняет связь с той целью, ради которой они были созданы»<sup>81</sup>. Эта мысль сегодня еще более справедлива, чем в 1907 году, когда ее высказал М. Пруст.

---

<sup>80</sup> *Le Goff J.* Reims, City of Coronation. P. 211.

<sup>81</sup> *Langlois C.* Catholics and Seculars // *Realms of Memory*. Vol. I. P. 116; Марсель Пруст цит. по: *Vauchez A.* The Cathedral //

Однако Франция – страна не только католическая или светская. На протяжении многих столетий она также была населена протестантами и иудеями, так же как сегодня она является и исламской страной. Евреи и протестанты представлены в «Местах памяти» статьями Пьера Бирнбаума и Филиппа Жутара. По сравнению с разделами о католицизме оба этих исследования отличаются большей глубиной и новизной подхода – возможно, потому, что их авторам приходится идти против сложившихся в историографии и общественном сознании стереотипов. Филипп Жутар раскрывает значение коллективной исторической памяти в жизни французских протестантов, которое очень велико – настолько, что предания старины обычно гораздо лучше сохраняются в протестантских деревенских общинах, чем в расположенных по соседству католических селах, даже в том случае, если сами католики принимали гораздо более активное участие или были гораздо сильнее затронуты теми событиями, о которых повествуется в этих преданиях. Его же статья о том, как долго воспоминания о насилии и терроре преследуют их жертвы, как бы напоминает главному редактору издания: чрезмерное подчеркивание строго католической природы французского духа может привести к тому, что слишком многое останется за рамками проекта. Так, в огромном исследовании Пьера Нора нет раздела, посвященного избиению французских протестантов в День святого Варфоломея в 1572 году – одной из «памятных дат» французской истории, пусть даже она никогда не отмечалась в этой стране.

В издании Нора католицизм находится в самом «центре» исторической памяти Франции, в то время как различные ереси и другие исповедания вытеснены на периферию французской культуры. Такое же манихейское противопоставление добра и зла воспроизводится и в целом ряде других тем, связанных с географией или социальной жизнью страны. Так, с незапамятных времен Франция всегда была расколота на Север и Юг – граница между ними была проведена экономистами-географами в XIX веке по условной линии от Сен-Мало до Женевы. Это была граница между современностью и отсталостью, между страной, говорящей по-французски, и областями, кое-как объясняющимися на местных диалектах, между культурой королевского двора и сельскими привычками, между правыми и левыми, между молодостью и старостью (не случайно средний возраст членов Законодательного собрания, с которого и началась Французская революция, в 1792 году составлял всего двадцать шесть лет), но прежде всего – между Парижем и провинцией.

«Провинция» – это не то же самое, что сельская местность, *campagne*. Во французском языке последнее понятие на протяжении столетий обладало положительными коннотациями, в то время как с момента появления придворной культуры слова «провинциал», «провинциальный» заключали в себе оскорбительный оттенок. Подсознательно картины Франции предполагают в числе других образ сельской местности, населенной крестьянами – крепкими хозяевами, прочно вросшими в свою землю, которую они обрабатывают из поколения в поколение. Даже в наши дни Арман Фремон – автор раздела, посвященного «Земле», – не может вполне освободиться от столь характерного для французов отношения к этой теме: «Земля была освоена без нарушения природного ритма ее жизни, без масштабных преобразований ландшафта, как это часто бывает в других странах», пейзаж Франции отличается «беспрецедентной гармоничностью» и т. п. Статья пронизана ощущением утраты, столь очевидной сегодня, когда деревенская Франция исчезает на глазах.<sup>82</sup>

---

Realms of Memory. Vol. II. P. 63.

<sup>82</sup> *Fr é mont A. The Land // Realms of Memory. Vol. II. P. 25, 34.* В 1976 году под редакцией Жоржа Дюби и Армана Валлона вышло авторитетное научное четырехтомное издание, посвященное истории французской деревни и сельского хозяйства с древнейших времен до наших дней, в котором были представлены статьи большого авторского коллектива («Конец крестьянской Франции» – так элегически был назван последний том этого издания). Во Франции эта работа стала бестселлером.

Никто, однако, не оплакивает «провинцию». Типичный «провинциал», каким он предстает в любом романе, приезжает в Париж из маленького городка. Страдая от одиночества, он отчаянно стремится покорить столицу – если только он не предпочел остаться дома, в тупом самодовольстве принимая жалкое существование в своем ограниченном мирке за настоящую жизнь. От Мольера и до Барреса этот трагикомический сюжет красной нитью проходит через всю французскую словесность. Конечно же, он отражает распространенный предрассудок, в равной мере разделяемый и парижанами, и провинциалами: все, что имеет значение, происходит в Париже (вот почему в годы «буржуазной монархии», с 1830-го по 1848-й, 92% парижских студентов приезжали учиться в столицу из провинции). Таким образом, столица высасывала из всей остальной (провинциальной) Франции жизненные соки. Как только эта фундаментальная противоположность Парижа и провинции будет осознана, гораздо понятнее станут почти все события и процессы в истории Франции – будь то политическая экономия Версаля при Людовике XIV, причины популярности режима маршала Петена (чья идеология, воспевавшая радости сельской жизни вдали от Парижа, апеллировала к атавизмам общественного сознания) или же современные предпочтения французской профессуры в выборе места жительства.

Презрительный оттенок, присущий словам «провинциал» и «провинциальный», ярко контрастирует с традиционной симпатией, с которой французы относятся не только к крестьянам и земле, но и к самой Франции, понимаемой как географическое пространство. Конечно, говоря о «традиционной» симпатии, мы имеем в виду сравнительно недавнее явление – это чувство возникло в XIX веке, а если быть еще точнее, то в годы Третьей республики, с 1880-го по 1900-й, когда в общественном сознании твердо запечатлелся зрительный образ Франции как страны на географической карте. Труды выдающихся историков и географов – «История Франции» Эрнеста Лависса и «Картина географии Франции» Поля Видаля де ла Блаша (оба этих сочинения рассматриваются в «Местах памяти») – предоставили в распоряжение нескольких поколений учителей надежное средство, с помощью которого в сознание французских школьников внедрялось понятие гражданственности и воспитывалась любовь к родине.<sup>83</sup>

«Путешествие двух детей по Франции» (*Tour de la France par deux enfants*), впервые опубликованное в 1877 году и на многие десятилетия ставшее обязательным чтением в школе, а также велосипедный маршрут *Tour de France*, открытый в 1903 году, в тот самый год, когда в свет вышла «Картина географии Франции» Видаля де ла Блаша, почти буквально воспроизводили традиционный маршрут, по которому за много веков до этого странствовали по Франции подмастерья (*compagnons*). Благодаря этой непрерывности пространства и времени – как реального, так и воображаемого – французская нация в 1914 году отличалась уникальным, непревзойденным чувством причастности к прошлому своей страны, к ее границам, многообразию ее ландшафтов, к ее географии – какой она была запечатлена на картах в разные столетия своей истории. Именно угасание этого чувства и исчезновение той реальности, которую оно отражало, и оказались в центре внимания Пьера Нора и его коллег, с горечью и сожалением описывающих эту утрату.

Педагогические усилия первых десятилетий Третьей республики (провозглашенной в 1870 году после того, как Наполеон III попал в плен к пруссакам), естественно, пользовались гораздо большим сочувствием в провинции, нежели в столице. Как показало исследование 1978 года, самыми популярными названиями городских улиц во Франции были: «улица Республики», «улица Виктора Гюго», «улица Леона Гамбетты», «улица Жана Жореса» и «улица

---

<sup>83</sup> «Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France, parce que la nature l'a faite belle, et parce que son histoire l'a faite grande [Из этой книги ты узнаешь историю Франции. Ты должен любить Францию, потому что природа наделила ее красотой, а история сделала ее великой страной]». Эта цитата заимствована с фронтисписа «Истории Франции» Эрнеста Лависса (вторая часть курса, издание 1912 года), воспроизведенного в изд.: *Realms of Memory*. Vol. II. P. 168.

Луи Пастера». Итак, в этом списке мы находим двух политиков Третьей республики, замечательного представителя «республиканской» науки и поэта, чьи похороны в 1885 году не только стали одним из кульминационных моментов того, как во Франции публично отмечалась память о выдающихся деятелях истории и культуры страны, но и превратились в торжество идеалов Французской республики. Однако эти названия улиц и проспектов гораздо чаще встречаются в провинциальных городах, чем в Париже, где, напротив, гораздо чаще можно встретить имена, или никак не связанные с политикой вообще, или восходящие ко временам Старого Порядка. Гражданские добродетели умеренного толка, проповедовавшиеся республиканским режимом в конце XIX века, находили живой отклик в первую очередь среди жителей небольших провинциальных городков.

Когда в 1918 году пришло время чтить память множества потерь, которые понесла страна в Первой мировой войне, республиканский культ павших героев (Антуан Прост характеризует его как светскую религию межвоенной Франции) особенно рельефно проявился опять же в провинции – и не только потому, что потеря человеческой жизни острее всего чувствовалась в деревне. Третья республика и все, что она собой олицетворяла, гораздо больше значила для населения небольших городов и сел, нежели для космополитичных жителей огромной французской столицы, – поэтому и утрату этого наследия регионы переживали гораздо глубже и сильнее.<sup>84</sup>

В XX веке память о перенесенных в годы войны испытаниях становится ключом к пониманию противоречивого культурного наследия Франции – возможно, что Пьеру Нора и его коллегам следовало бы уделить ей больше места в рамках своего проекта. Как пишет Рене Ремон, «с 1914 по 1962 год, на протяжении почти полувека, война все время присутствовала в памяти французского народа, в национальном самосознании»<sup>85</sup>. Первая мировая война могла не вызывать моральных сомнений, но к ранам, которые она нанесла, еще долго было больно прикасаться: кроме пяти миллионов убитых и раненых она оставила после себя сотни тысяч вдов и сирот, не говоря уже о страшных разрушениях на всем северо-западе Франции. В течение многих десятилетий о событиях Первой мировой войны, как о душах чистилища, постоянно помнили, но их никогда не отмечали. Только сравнительно недавно поля сражений на Западном фронте стали местом паломничества экскурсантов: при пересечении границы департамента Соммы приезжего встречает дорожный указатель, приветствующий его на этой земле. Этот же указатель напоминает ему о том, что трагическое прошлое этого края (как и расположенные здесь мемориальные кладбища) является частью местного наследия и заслуживает внимания туриста. Еще не так давно подобный знак невозможно было себе представить.<sup>86</sup>

Вторая мировая война, не говоря уже о «грязных войнах» Франции в Индокитае и Алжире, вызывает гораздо более сложные и неоднозначные ассоциации и воспоминания. Если сегодня для историков и журналистов режим Виши превратился в «место памяти», то большинство французов все еще предпочитает не вызывать из могилы призрак, который они постарались туда надежно закопать в 1945 году. Как сказал Даниэль Морне, представлявший обвинение на процессе над маршалом Петеном: «Эти четыре года должны быть вычеркнуты из нашей истории». Иными словами, прошлое Франции в XX столетии не удастся предста-

---

<sup>84</sup> Prost A. Monuments to the Dead // *Realms of Memory*. Vol. II. P. 328.

<sup>85</sup> См.: *R é mond R. Mémoire des guerres // Lieux de mémoire et identités nationales*. P. 266.

<sup>86</sup> В небольшом городке Перон (Péronne), расположенном в самом центре тех мест, где шли бои на Сомме, создан «Историал», посвященный истории и памяти о Первой мировой войне. В отличие от большинства таких музеев его экспозиция не просто посвящена увековечению памяти – она по-настоящему претендует на исторический анализ. Здесь приводятся различные, часто противоречивые трактовки этих событий, показанных с точки зрения Германии, Великобритании и Франции; освещены такие стороны жизни на войне, о которых ничего не сообщается в традиционных рассказах о воинской доблести и бедствиях войны.

вить как простое продолжение древних традиций, которые с любовью и восхищением запечатлены в многотомном издании под редакцией Пьера Нора.

Дело здесь не только в том, что эти события еще недостаточно удалились от нас. Несмотря на то что и земля Франции, и ее крестьяне, и даже католическая церковь (но не французская монархия) пережили 1918 и даже 1940 год, кое-что другое до наших дней не сохранилось. В первой половине своего существования, с 1871 года и до Первой мировой войны, Третья республика не знала трудностей в присвоении наследия предшествующих эпох, уверенно использовала реликвии прошлого для решения своих текущих задач. Однако после 1918 года Франции это никогда вполне не удавалось – несмотря на все героические усилия Шарля де Голля. История Франции в XX веке – это история стоического страдания, упадка, неуверенности, поражения, позора и сомнений, за которыми, как мы уже говорили, последовали беспрецедентные перемены. Эти перемены не могут ничего изменить в памяти о недавнем прошлом, хотя они – и здесь Пьер Нора совершенно прав – угрожают уничтожить все более древнее наследие, оставив французам только мучительные воспоминания и неопределенность сегодняшнего дня.

Не в первый раз Франция имеет возможность оглянуться назад, на свое бурное и неоднозначное прошлое. После 1871 года основатели Третьей республики должны были заново выработать основы гражданского единства, воссоздать французское общество после череды трех революций, двух монархий, империи, недолго просуществовавшего республиканского режима и поражения в большой войне: все эти события пришлось на время жизни одного поколения! У них это получилось, поскольку им удалось связать вместе прошлое и настоящее страны в одно целостное повествование, которое они со всей убежденностью внушили трем поколениям французских граждан.

Их потомки не смогли повторить это достижение – свидетельством тому может служить печальный опыт Франсуа Миттерана, занимавшего пост президента Французской республики в 1980-х – первой половине 1990-х годов. Ни один глава государства во Франции, начиная с Людовика XIV, не уделял столько внимания сохранению памяти о славном прошлом страны и не прилагал столько усилий к тому, чтобы самому слиться с этим величием. За годы его правления было воздвигнуто множество памятников, открыто десятки музеев, проведено сотни памятных торжеств, погребений и перезахоронений, не говоря уже о стремлении Миттерана увековечить свое собственное имя в камне и бронзе – стремлении, достигшем исполинских размеров в виде триумфальной арки у La Défense в западной части Парижа или «Очень Большой Библиотеки» на левом берегу Сены! Однако чем, помимо своей поразительной способности удерживаться у власти, запомнился Франсуа Миттеран своим соотечественникам перед смертью? Тем, что так и не смог до конца признать ту незначительную политическую роль, которую он играл в режиме Виши, – неожиданно яркий пример того, как поведение одного человека отражает провал в памяти, которым страдает вся нация.

Французы, как и их покойный президент, не знают, как им относиться к своей недавней истории. В этом плане они не слишком отличаются от своих восточных соседей, как, впрочем, и от других народов. Однако раньше во Франции прошлое казалось простым и понятным. Именно контраст между тем, каким прошлое виделось раньше и каким оно воспринимается сейчас, и вызывает тревогу, которая отчетливо проступает на страницах выдающегося труда Пьера Нора. Этот же контраст, как мне кажется, объясняет проводимое Пьером Нора противопоставление истории и памяти, на которое я уже обращал внимание выше. Раньше память и история дополняли друг друга: интерпретации историков, несмотря на их критический подход, в главном не противоречили памяти французского общества. Конечно, это было обусловлено тем, что сама историческая память общества формировалась под влиянием официально признанных представлений о прошлом, за которыми, в свою очередь, стояли сочинения историков, замечательно согласных между собой в своих оценках. Говоря

об официальных представлениях, я прежде всего имею в виду книги, написанные для школьников: память о прошлом во Франции воспитывали с малолетства – эта тема раскрывается в «Местах памяти» в разделах, посвященных французским учебникам истории XIX века.

В наши дни, с точки зрения Пьера Нора, история и память утратили связь и с нацией, и между собой. Так ли это на самом деле? Когда сегодня, путешествуя по автомобильным дорогам Франции, мы встречаем на своем пути те самые указатели, с которых я начал эту статью, что реально происходит? Какой смысл сообщать человеку о том, что он видит перед собой Реймский собор, или поле сражения под Верденом, или деревню под названием Домреми, если он не знает, что стоит за этими названиями, ведь об этом как раз ничего не написано на щите у дороги? Умение читать эти знаки зависит от тех познаний, которые путешественник приобрел ранее – в школе. Нам не нужно объяснять, что «значат» эти места – они обретают смысл в знакомых нам с детства рассказах. И они подтверждают эти рассказы своим существованием. Вот почему рассказ должен предшествовать встрече – иначе какой в ней смысл?

Итак, *lieux de mémoire* – «места памяти» – неотделимы от истории. Во Франции вы не найдете указателя, который подсказал бы автомобилисту, что он проезжает «Виши» (конечно, я не имею здесь в виду простой дорожный знак на въезде и выезде из черты города). Дело не в том, что «Виши» не поддается однозначной трактовке, – ведь образ рожденной в Домреми Жанны д'Арк тоже использовался различными силами (сейчас, например, она стала любимой героиней Национального фронта Ле Пена). Знака нет потому, что на сегодняшний день французы не могут ничего рассказать о «Виши» так, чтобы общий смысл этого рассказа был понятен и разделялся большинством сограждан. Без такого рассказа, без своей истории, «Виши» не имеет места в памяти Франции.

В конце концов, не столь важно, что «старая добрая Франция» навсегда канула в прошлое и что, используя выражение Армана Фремона, государство «переиздает поэму французской деревенской жизни», создавая экологические музеи и музеи под открытым небом, в то время как многое утрачено безвозвратно. В этом нет ничего нового – всегда существовали забвение и память, создание новых традиций и отмирание старых, по крайней мере, так было начиная с эпохи романтизма первых десятилетий XIX века<sup>87</sup>. Проблема не в том, что в наше время все формы, которые принимает историческая память общества, представляют собой подделку, китч, пародию на прошлое. Версаль Людовика XIV, возникший под воздействием осознанного стремления вызвать в памяти и одновременно превзойти двор монархов династии Валуа, был и подделкой, и пародией, и предвосхищением всех тех «мест памяти», которые потом приходили ему на смену. Все это заключено в природе любого наследия и любой попытки сохранить память о прошлом.

Новизна нынешней ситуации состоит в том, что современное общество перестало уделять внимание истории. Каждый памятник, каждый музей, каждое беглое упоминание о прошлом, призванные вызвать в нас подобающие случаю чувства уважения, печали, сожаления или гордости, паразитируют на тех исторических познаниях, которые, предположительно, должны были бы быть в нас заложены. Речь идет не просто об *общих воспоминаниях*, но об *общих воспоминаниях об истории страны* – той истории, какую мы все когда-то изучали. Франция, подобно другим современным странам, живет за счет педагогического капитала, вложенного в ее сограждан в предыдущие десятилетия. Как с горечью замечают Жак и Мона

---

<sup>87</sup> См.: *Fr é mont A. The Land*. P. 28. Уже в 1930-х годах возникло гнетущее ощущение, что крестьянская Франция уходит в прошлое. Перепись 1929 года впервые показала, что меньше половины населения Франции проживает в «сельской местности». На различных выставках и ярмарках демонстрировались «действующие макеты» ферм и деревень, а также процесс ремесленного труда. Предпринималось много усилий для того, чтобы запомнить и сохранить идеализированную сельскую жизнь прошлого. См.: *Peer S. France on Display: Peasants, Provincials, and Folklore in the 1937 Paris World's Fair*. N.Y., 1998; *Herbert J.D. Paris 1937: Worlds on Exhibition*. Ithaca, 1998.

Озуф в статье, посвященной классическому учебнику Огюстины Фуйе «Путешествие двух детей по Франции»: «*Путешествие* знаменует собой тот момент в истории Франции, когда все силы нации были отданы школе. В наши дни мы совершенно утратили веру в воспитание – вот почему в наших глазах так потускнел некогда яркий образ мадам Фуйе».<sup>88</sup>

По крайней мере, в настоящий момент сюжеты, которые рассматривают Пьер Нора и его коллеги, остаются материалом к изучению «мест памяти». Однако, если судить по почти полному исчезновению нарративной истории из школьной программы многих стран, включая и Соединенные Штаты, скоро может наступить время, когда для большинства граждан прошлое их страны будет представлять собой нечто вроде *lieux d'oubli* – «мест забвения» или, скорее, мест незнания, поскольку и забывать станет нечего. Совершенно бессмысленно учить ребенка, как мы это делаем сейчас, критически относиться к полученным знаниям о прошлом, если перед этим он так и не получил никаких знаний<sup>89</sup>. В конце концов, Пьер Нора совершенно прав, утверждая, что история принадлежит всем и никому – именно потому она и претендует на истину. Как и любое подобное притязание, ее право всегда будет оспариваться. Однако, отказавшись от этих притязаний, мы попадем в беду.

---

<sup>88</sup> Ozouf J., Ozouf M. Le Tour de la France par deux enfants: The Little Red Book of the Republic // Realms of Memory. Vol. II. P. 148.

<sup>89</sup> Как пишет Патрик Хаттон, «ни одна культура не способна поддерживать себя без анализа институциональных форм и характерных стилей общения, господствовавших в том прошлом, которое эта культура отвергла». См.: Hutton P.H. History as an Art of Memory. Hanover, NH, 1993. P. xxiv.

### III

С моей точки зрения, многотомное издание Пьера Нора и его коллег можно понять только в контексте того времени и той страны, где и когда оно появилось на свет. Оно возникло в смутное время – как для исторической науки во Франции, так и для самого французского общества. В течение многих лет во французской историографии господствовали два течения – социально-культурная история школы «Анналов» и марксистская и неомарксистская историография Великой французской революции. В 1970-х годах эти два направления утратили свои ведущие позиции. Школа «Анналов» распалась потому, что популярные в 1960-х годах модели анализа исторического процесса, ставящие во главу угла глубокие, почти неизменные геоисторические структуры, потеряли свою притягательность в новом культурном климате следующего десятилетия. Что же касается историографии Великой французской революции, то Франсуа Фюре и его последователи радикальным образом пересмотрели все подходы в этой области – и это произошло в то самое время, когда французская интеллектуальная элита в целом отвернулась от марксизма.

Сама же Франция в этот момент менялась быстрее, чем когда бы то ни было за последние несколько столетий. Многое из того, что некогда было частью общих воспоминаний, вызывало общие ассоциации, многие местные и профессиональные традиции – все это исчезало на глазах с конца 1950-х до середины 1970-х годов. Пьер Нора, подобно многим своим современникам, осознал, что настал самый подходящий момент, чтобы попытаться запечатлеть это ощущение вечности Франции – как раз тогда, когда то, что казалось вечным, навсегда уходило из жизни людей. Именно поэтому вся книга посвящена Франции. Она не только о Франции – она прежде всего о том смысле, который французы вкладывают в это понятие, о французском понимании того, что значит быть французом, жить во Франции, помнить, что такое Франция. Те аспекты истории страны, которые не вписывались в эти представления – например, Наполеон Бонапарт или то, как во Франции обращались с этническими и религиозными меньшинствами, – либо были полностью пропущены, либо вытеснены на задний план исследования.

В этом смысле монументальный труд Пьера Нора и его коллег сам по себе уже может считаться образцом современной мифологии. Этим я не хочу сказать, что «Места памяти» лгут своим читателям или представляют общественную опасность. Просто это издание нельзя назвать настоящим историческим исследованием – несмотря на то что многие из его авторов принадлежат к числу ведущих современных историков Франции, а отдельные статьи представляют собой блестящий пример исторического анализа.

Как можно использовать этот труд применительно к советскому опыту? Первое, что я хотел бы отметить: работа Пьера Нора очень мало что может дать для понимания проблем имперского и национального самосознания в многонациональном контексте. Во-вторых, важно учитывать то обстоятельство, что Франция на протяжении многих столетий была свободной страной с непрерывной традицией независимого исторического исследования, общественной жизни и публичных дискуссий. Таким образом, в своем издании Пьер Нора изначально исходит из того факта, что во французском обществе «история» давно считается признанным методом познания и осмысления человеческого опыта. Иными словами, когда Нора представляет память – во всей ее противоречивости – в качестве альтернативного истории способа обрести понимание своего места в мире, он может пойти на такой шаг, поскольку история во Франции вызывает общее доверие и пользуется большим авторитетом. В странах бывшего советского блока, будь то Россия или ее бывшие сателлиты, ситуация принципиально иная. Здесь проблема заключается не в том, чтобы выйти за пределы

традиционной историографии, а в том, как создать или восстановить традицию подлинно научного подхода к истории. Уже одно это обстоятельство кардинально меняет весь контекст исследования.

Наконец, я хотел бы отметить, что подход Пьера Нора – это подход замечательно уверенной в себе космополитичной парижской интеллигенции, настолько хорошо знающей все вехи истории Франции, все основы французской культуры, что она может позволить себе *jeu d ' esprit* – игру ума, – предложив обществу память в качестве «ненаучной» альтернативы исторической науке. Ведь на самом деле это все не следует принимать вполне всерьез. Обратите внимание на то, что до сих пор не появилось ни одной удачной попытки повторить успех Пьера Нора в Великобритании, Италии, Испании или где-нибудь еще. Это очень парижский по духу проект, и вряд ли есть какой-то смысл в том, чтобы пытаться перенести его на другую почву.

## **Рональд Григор Суни**

### **Диалог о Геноциде: усилия армянских и турецких ученых по осмыслению депортаций и резни армян во время Первой мировой войны**

В начале 1998 года меня пригласили прочитать лекцию и провести семинар в Университете Коч (Koç University) в Стамбуле. Обратившийся ко мне человек – мой бывший аспирант, а впоследствии профессор этого университета – предложил, чтобы я рассказал об армянах. Хотя его предложение показалось мне странным и даже опасным, я не мог пренебречь столь заманчивой возможностью. Я стал советоваться с друзьями: некоторые из них полагали, что это – напрасный риск. Один турецкий коллега меня поощрил: «Не беспокойтесь! Если что-нибудь случится, мы сможем вытащить вас оттуда!» Подобные заверения вряд ли могли кого-то успокоить, но, поскольку я так долго доказывал необходимость диалога между турками, армянами и другими заинтересованными сторонами по вопросу о Геноциде, я решил лететь в Стамбул.

Университет Коч – относительно молодое учебное заведение, специализирующееся в области изучения бизнеса и экономики. По-спартански аскетичные корпуса этого университета, созданного на средства одного из самых богатых семейств в Турции, наводняют толпы молодых людей, которых легко принять за учащихся любого американского колледжа. Студенты прекрасно говорят по-английски, среди преподавателей есть как турки, так и иностранцы, в том числе молодые американцы, которых особенно много на историческом факультете и факультете политологии. Университет гордится своей прозападной ориентацией и живет в постоянном противоречии: с одной стороны, он привержен светскому, государственным, модернизаторскому подходу – традиции, заложенной Мустафой Кемалем; с другой – некоторые иностранные преподаватели весьма критически относятся к этой традиции.

Я прилетел в Стамбул из Вашингтона через Амстердам во второй половине дня 20 мая 1998 года. Меня встретили на университетской машине, и я прибыл в Коч всего за 15 минут до начала лекции. В большой аудитории, окрашенной в сине-голубые тона, меня ожидало человек 150, в большинстве своем студентов, а также несколько преподавателей и посторонних лиц – гостей университета.

Все еще приходя в себя после долгого перелета, я начал выступление с того, что поблагодарил университет за предоставленную мне возможность обсудить страшную трагедию, которая до сих пор разъединяет армян и турок. Первые слова моего выступления, казалось, парализовали аудиторию. Пригласивший меня человек позднее заметил, что он был потрясен столь резким заявлением в начале лекции, явно контрастировавшим с турецкими трактовками этих событий:

Историки интерпретировали массовые депортации и убийства сотен тысяч армян в Восточной Анатолии в 1915 году как конфликт между двумя взаимоисключающими националистическими движениями, националистическими идеологиями, как конфликт двух народов из-за одного клочка земли. Несколько развив это положение, авторы, отрицающие сам Геноцид, трактуют эти события как гражданскую войну между турками и армянами. Я же утверждаю нечто совсем другое: это была не гражданская война – гражданской войны на самом деле никогда не было, она существует лишь в воображении профессиональных фальсификаторов истории. Это был

Геноцид, свершившийся, когда государственная власть приняла решение о выселении армян с их исторической родины. Выселение было затеяно ради достижения некоторых стратегических целей, а именно – устранения предполагаемой армянской угрозы в ходе войны с Россией, наказания армян за подрывную, повстанческую – с точки зрения турецкого руководства – деятельность и, наконец, реализации собственных амбиций по созданию на всем пространстве от Анатолии до Кавказа и Средней Азии пантюркской империи.

Я говорил около часа. За это время несколько человек покинули аудиторию. Один турецкий преподаватель, которого я встретил перед самой лекцией, во время моего выступления выглядел совсем мрачным. Однако аудитория слушала меня с огромным вниманием и, когда я закончил, аплодировала, как мне показалось, с большим воодушевлением. В течение следующего часа я отвечал на вопросы – и они стали для меня самой непредсказуемой частью выступления. Они не были враждебными. Слушатели, по всей видимости, приняли мой тезис о том, что в 1915 году имел место Геноцид, что он был инициирован и осуществлялся правительством младотурок и что эти события произошли не в результате столкновения двух националистических движений, а потому, что государственная власть стремилась в измененной форме сохранить старую турецко-исламскую империю, распространить ее на восток, включив в ее состав другие тюркские народы и устранив физически тех, кого это государство считало наиболее чужеродными, наиболее опасными и наименее лояльными по отношению к османам, – а именно армян.

Самый первый вопрос был задан одним из студентов: «Что же теперь мы можем с этим поделать? Как мы сейчас можем преодолеть вражду между турками и армянами?» Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение и новые вопросы аудитории: следует ли Турции принести официальные извинения за Геноцид армян? Когда это нужно сделать? Что выиграет Турция от принесенных извинений? Я ответил, что в настоящее время перед ней стоит слишком много проблем – война с курдами, проблема Кипра, вступление в Европейский союз, исламизм, проблема бедности. Поэтому Турция должна покончить с этим давно наболевшим вопросом и официально признать факт совершения Геноцида – события более чем 80-летней давности. Это разрядило бы атмосферу в отношениях между армянами и турками и способствовало бы вступлению Турции на правах полноправного члена в сообщество современных наций.

На вопрос об отношении армян к туркам я ответил, что большинство из них ненавидят турок и за совершенное ими зло, и за постоянное отрицание Геноцида; что непризнание этого преступления всегда вызывало патологическую реакцию со стороны обоих народов (одним из проявлений этой реакции в прошлом был терроризм) и что единственный способ преодолеть боль, которую вызывают подавленные воспоминания, – взглянуть в лицо фактам и признать, что произошло на самом деле. Я сказал моим слушателям, что в Америке многие армяне не поверили бы, что в Турции мне разрешили прочитать такую лекцию и что они еще больше удивились бы тому приему, который оказали мне сегодня студенты. Я выразил свое восхищение университетом за предоставленную возможность выступить – пусть даже речь шла всего лишь об одной лекции одного приглашенного специалиста. И, чтобы сделать следующий шаг на пути к взаимопониманию, я предложил организовать широкое обсуждение этих событий с участием турецких, армянских и других исследователей.

Один из студентов спросил меня об армянском терроризме, на что я заметил, что такого рода деятельность давно прекратилась и большинство участников террористических актов уничтожили друг друга. Отвечая тогда на этот вопрос, я еще не понимал, что студент на самом деле спрашивал меня о *современном* армянском терроризме – о явлении, которого на самом деле не существует, но которое постоянно упоминается в турецкой печати. В Турции

армян обвиняли в том, что они тайно помогали курдскому восстанию – даже якобы возглавляли его!

Другой студент поинтересовался, связаны ли между собою обсуждение армянского вопроса и курдская проблема. Очевидно, он и многие другие усматривали определенную связь между тем, как турки обошлись с армянами 83 года назад, и политикой турецкого государства по отношению к курдам в настоящее время. Я отказался говорить о курдах, сославшись на то, что провел в Турции всего полтора часа и за это время уже успел стать врагом турецкого государства! Отвечая на вопросы, в какой-то момент я упомянул, что мой дед по матери был родом из Йозгата – города в Центральной Анатолии, а моя бабушка по матери происходила из Диарбекира – города, который армяне называли Дикранагерт и который сейчас населяют в основном курды. Мои дед и бабушка покинули Турцию после резни 1894—1896 и 1909 годов, а все их родственники, кто остался в стране, были убиты во время Геноцида. Тишина, наступившая в зале после этих слов, убедила меня в том, что вряд ли кто-то из слушателей усомнился в правдивости моего рассказа о событиях 1915 года.

Я покинул аудиторию вдохновленный. Через два дня ко мне в гостиницу пришла журналистка, чтобы взять интервью о Геноциде. Более часа мы говорили с ней о том, что именно и почему произошло в 1915 году. Она пообещала мне, что интервью будет опубликовано примерно через неделю в воскресном приложении к популярной газете Milliyet. Я любовался красотами Стамбула, восхищался Босфором и наслаждался хорошо знакомым вкусом турецкой кухни, но при этом я отлично понимал, что выпавшая на мою долю возможность выступить с подобной лекцией была уникальной, даже странной. Она никак не соответствовала процессам, происходившим тогда в Турции. Спустя несколько дней после моего посещения Университета Коч Франция официально признала факт Геноцида армян. Турецкое правительство реагировало на это набившими оскомину фразами о гражданской войне и убийствах с обеих сторон. В сущности, официальная Турция продолжала настаивать на том, что Геноцида не было и что в любом случае армяне сами в нем виноваты! Полный абсурд!

Из Стамбула я вылетел в Тбилиси. Грузия – страна, перед которой стоят свои проблемы. Она страдает от межэтнических конфликтов и слабости государственной власти. В Тбилиси также многих удивило, что в Турции мне позволили говорить о массовых убийствах армян. Здесь, вдали от Стамбула, размышляя о том, что произошло, я понял, что в Турции неофициально уже шла дискуссия о Геноциде. Эту проблему еще нельзя было обсуждать в полный голос, публично, но и студенты, и интеллигенция уже знали о том, что официальная версия событий – плохо сработанная ложь. Было очевидно, что в Турции имелись люди, которые – подобно студентам из Университета Коч или журналистке, бравшей у меня интервью, – были готовы пойти на риск и услышать правду. Некоторые – таких, правда, было еще очень мало – решались вслух говорить правду о событиях 1915 года. Мне вспомнились две женщины, которые подошли ко мне после лекции и сказали, что они – турецкие армянки. Вспомнился молодой человек, сомневавшийся в том, что турки легко пойдут на признание Геноцида, – поскольку они не чувствуют себя достаточно уверенно, их национальное самосознание слишком ранимо. Турки, подумал я, должны сами для себя решить, кто они – нация современная или традиционалистская, светская или исламская, принадлежат ли они Западу или Востоку, – прежде чем смогут дать ответ на трудные вопросы о том, что сотворили их предки в начале XX века. По крайней мере, некоторые турки начали переосмысливать то, что не было принято обсуждать, начали задавать вопросы прошлому своего народа, чтобы сделать его будущее более приемлемым для всех.

После моего возвращения в Соединенные Штаты газета «Миллийет» опубликовала интервью, которое я дал 14 июня 1998 года. Вслед за этим армяно-американский журнал Armenian Forum, недавно созданный двумя моими бывшими учениками, напечатал мою большую статью под названием «Империя и нация: армяне, турки и конец Османской импе-

рии», в основу которой легла прочитанная мною в Стамбуле лекция. К моему удивлению, моя поездка в Турцию, интервью в турецкой газете и эта статья вызвали крайне враждебную реакцию – критиковали меня, мои взгляды на Геноцид, мое предложение собрать вместе турецких и армянских ученых для обсуждения событий 1915 года. Ирония заключалась в том, что наиболее резко высказывались армянские журналисты и исследователи, а не их турецкие коллеги. В сущности, в моей статье содержались три положения, вызвавшие наибольшие нападки: 1) Геноцид 1915 года нельзя рассматривать как простое продолжение массовых убийств армян турецкими властями, которые случались и ранее, – это была принципиально иная, гораздо более радикальная попытка решения «армянского вопроса»; 2) Геноцид не планировался заранее, задолго до Первой мировой войны – скорее, это было внезапное решение, принятое в разгар войны; 3) Геноцид был вызван не столько ненавистью турок к армянам как к расе или нации, сколько амбициозными планами воссоздания на новом фундаменте Османской империи, которые предполагали пантуранскую экспансию на Востоке.

Armenian Forum предоставил трем историкам – двум туркам по происхождению и одному армянину – возможность выступить с замечаниями по моей статье. В «Ответе моим критикам», опубликованном в том же журнале, я обратился прежде всего к двум турецким историкам, согласившимся принять участие в этой беспрецедентной дискуссии. Я поблагодарил профессора исторического факультета Университета Браун (Brown University) Энгина Дениза Акарли за призыв к исследователям выйти за пределы националистических парадигм, в рамках которых сформировались наши представления о прошлом. Акарли смело заявил, что Геноцид 1915 года нельзя рассматривать как гражданскую войну (как это утверждали некоторые турецкие историки), что массовые убийства, которые тогда произошли, по праву следует называть Геноцидом. В этом наши позиции оказались достаточно близкими. Однако между нами обнаружились и принципиальные различия во взглядах. Термин «гражданская война» действительно вводит в заблуждение – но не потому, что в последний период существования Османской империи общество не было расколото по религиозному, классовому или этническому признаку. Традиционное понимание природы гражданской войны предполагает, что две части общества, возможно сплотившиеся вокруг противоборствующих политических сил, сражаются друг с другом на равных. Они до некоторой степени сопоставимы по своему социальному масштабу, по результативности своих действий. В данном же случае с одной стороны мы видим государство, а с другой – небольшую часть общества; одна сторона была хорошо вооружена и организована, другая – почти безоружна и разбросана по стране. Очевидно, что такие термины, как «неповиновение», «сопротивление» или «восстание», гораздо больше подходят для описания событий, в которых участвовали армяне, поскольку эти понятия, по крайней мере, позволяют показать, что силы противоборствующих сторон были далеко не равными.

Акарли предложил альтернативное объяснение Геноцида 1915 года, связав массовые убийства с той идеологией, которая сложилась у вождей младотурок. Их взгляды на проблему сформировались под влиянием опыта событий на Балканах, где христиане жестоко расправлялись с мусульманами. Развивая мысль, высказанную Хасаном Кайяли из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California, San Diego), Акарли утверждал, что правительство Османской империи преувеличивало угрозу своей власти, исходящую со стороны двух основных христианских общин. Именно поэтому политика правительства, направленная на сохранение государства, переросла в планы полного уничтожения армян на территории империи. В конце своей статьи Акарли признался, что не может понять, почему правительство Османской империи поступило так, как оно поступило. Действительно, воображение историка пасует перед подобными иррациональными актами варварской жестокости. Однако, стремясь найти объяснение, Акарли не пытался ни замолчать, ни оправдать то зло, которое турецкие националисты причинили армянам, что делает ему честь как ученому.

Историк из Стамбула Селим Дерингил высказался о моей статье гораздо критичнее. По его словам, «от нее можно было ждать гораздо большего»: статья изобилует неточностями, в ней много проблем с методологией, ее автор слишком явно выступает на стороне армян. За это последнее замечание я поблагодарил Дерингила, поскольку армяне слишком часто упрекали меня в том, что я отношусь к ним предвзято, будучи на самом деле армянским антинационалистом (последнее, действительно, ближе всего соответствует моим взглядам!). Так и не дав собственного объяснения тому, что он готов назвать «страшным преступлением... совершенным против армянского народа в Восточной Анатолии и в других областях страны» (но при этом старательно избегая слова «Геноцид»), Дерингил настаивал, что я сильно преувеличил значение пантуркизма или пантуранизма. На самом деле я говорил вовсе не о первенстве пантуркизма – или национализма, или османизма. Я доказывал, что в поздней Османской империи существовала «густая смесь» из различных идеологий, в рамках которой и действовали младотурки. Поэтому следует учитывать все существовавшие тогда проекты сохранения и упрочения империи. Из всей «смеси» турецкие лидеры в конце концов избрали радикальное решение – политику массового уничтожения армян. Я по-прежнему убежден, что пантуранские фантазии сыграли здесь свою роль – по крайней мере, они определяли сознание некоторых ведущих политических игроков.

Особые возражения с моей стороны вызвало утверждение Дерингила о том, что я предвзято подошел к позиции турецкой стороны и рассматриваю турецкий национализм как «искусный, коварный восточный заговор, направленный на то, чтобы навязать миру пантуранскую империю». Такое прочтение моей статьи, безусловно, неправильно. В моем понимании любое национальное движение, любая национальная идеология представляют собой нарратив – повествование о бытии коллективной идентичности в историческом времени, обычно с соответствующими ссылками на славное прошлое этой общности людей и с притязаниями на некоторую часть мировой недвижимости, а именно – на территорию своей «родины». Я рассматривал различные способы, с помощью которых армяне и турки обосновывали свои претензии на Анатолию, отнюдь не считая при этом, что обладание этими землями в прошлом или демографический перевес того или иного этноса в настоящем дают какие-то большие права на спорную территорию, что это более сильные аргументы по сравнению с завоеванием, покорением соперников или их устранением посредством депортации. Прошлый исторический опыт по-разному прочитывается и истолковывается в рамках различных дискурсивных конструкций, направленных на оправдание или обоснование тех или иных политических притязаний. В данном случае и армяне, и турки по-разному интерпретируют общую историю.

Известный армянский исследователь Геноцида Ваагн Н. Дадрян воспринял мою статью крайне враждебно. Его замечания значительно превысили по своему объему первоначальный текст моей статьи. Во-первых, он оспорил мое утверждение о том, что хамидские убийства 1890-х годов отличалась от Геноцида 1915 года. Он также отверг мою точку зрения на Геноцид как на спонтанное событие, произошедшее в момент политической радикализации, последовавшей за катастрофическим поражением османской армии при Сарыкамыше зимой 1914/15 года. Дадрян совершенно справедливо заметил, что я не согласен с часто повторяющимся в его работах тезисом о том, что планы Геноцида стали разрабатываться еще до Первой мировой войны. В качестве доказательства Дадрян ссылается на донесения австро-венгерского вице-маршала Помянковского, который якобы слышал «спонтанные высказывания многих умных турок», что православное население Османской империи следует или обратить в ислам, или уничтожить. Дадрян ссылается также на сообщение полковника германской армии Штранге, согласно которому младотурки проводили депортации и уничтожение армян «в соответствии с давно задуманным планом», а также на более позд-

ние донесения Макса Эрвина фон Шубнер-Рихтера и посла Йоханна Маркграфа Паллави-чини о том, что турки намеревались использовать войну для уничтожения христиан.

Здесь мы подходим к одному из самых сложных вопросов, связанных с Геноцидом. Когда именно турецким руководством было принято решение о проведении политики массового уничтожения? Существовали ли такие планы до начала Первой мировой войны, когда младотурки и основная армянская политическая партия в Турции – Дашнакцутюн – еще были политическими союзниками? Или же эти планы возникли с началом войны, когда турецкая армия потерпела поражение на Кавказском фронте, а ключевые политические игроки в Стамбуле пришли к убеждению, что армяне предали их в этой войне? Мой ответ на эти вопросы состоит в следующем: действительно, совершенно очевидно, что турецкая элита задолго до войны была настроена против армян. Точно так же очевидно, что отдельные экстремисты давно вынашивали планы радикального «решения» армянского вопроса. Нельзя отрицать и то, что война предоставила блестящую возможность для проведения в жизнь самых жестоких планов в отношении армян и что жертвам были предъявлены ложные обвинения в подготовке восстания. Но все это, по моему мнению, нельзя отождествлять с заранее подготовленным и разработанным планом по уничтожению армян. Если бы не разразилась Первая мировая война, то не было бы и Геноцида – и не только потому, что война позволила скрыть эти события. Война крайне обострила у турок чувство грозящей им страшной опасности. Без этого у них было бы гораздо меньше стимулов к радикальному решению вопроса и больше политических возможностей для других вариантов. Накануне объявления Османской империей войны России турецкое правительство вело переговоры с ведущей армянской политической партией – Дашнакцутюн – о том, чтобы эта партия поддержала усилия правительства, направленные на подрыв Российской империи изнутри, используя для этого армян, живущих в России. Дашнаки прозорливо отказались. Тем не менее в этой истории важно то, что перед младотурками было открыто множество различных политических возможностей решения проблемы, которым они предпочли Геноцид. Когда Геноцид армян все же свершился, то это произошло вследствие ненависти и страха, давно и прочно поселившихся в сознании турок, как элиты общества, так и простого народа. Эти настроения усилились с началом войны и поражениями на фронте, их подпитывали и грандиозные, фантастические замыслы руководства партии младотурок по перестройке империи и устранению предполагаемой угрозы со стороны армян. Однако даже в пространной статье Дад-ряна не прозвучал вопрос: в какой же все-таки момент и кем было принято решение провести массовые депортации и убийства армян?

За отсутствием точных доказательств, я склонен полагать, что такое решение было принято в какой-то момент в самом начале 1915 года на фоне зимних поражений на фронте. Обстановка благоприятствовала подобным действиям, поскольку парламент был закрыт, в воздухе витало ощущение опасности, грозящей государству, и армян можно было легко представить как предателей, помогающих наступлению русских войск. Как убедительно показал Дадрян, инициатива, поощрение и координация массовых убийств исходили преимущественно из самой политической партии младотурок, а не прямо от государства или созданных ими спецслужб типа Особой организации (Teshkilâtî Mahsusa).

В моей статье и в последующих ответах на критику, пытаюсь обнаружить причины событий 1915 года, я стремился пойти дальше обычных ссылок на глубоко укоренившийся расизм турок, провокации со стороны армян, будто бы имевшую место гражданскую войну или столкновение двух националистических движений и идеологий. Мои выступления были призывом к более глубокому, детализированному, основанному на фактических данных изучению Геноцида – чего нам никак не удавалось в прошлом. Опираясь на материалы последних дискуссий об империи и нации, о формировании национальной идентичности, я попы-

тался выйти за рамки сложившихся националистических парадигм, которые мешают нам понять эти события.

К тому времени, когда были опубликованы моя статья и отклики на нее, т. е. к лету 1998 года, уже вовсю шла работа по организации цикла семинаров, посвященных Геноциду, с участием армянских, турецких и других исследователей. Известия об этих планах распространились среди армян, живущих в Соединенных Штатах. Некоторые из них приветствовали наше начинание, но многие встретили его в штыки. Один журналист, возглавивший в прессе кампанию против нашего семинара, даже опубликовал несколько статей под общим заглавием «Турки приходят в Чикаго». Некоторые из обвинений, выдвинутых против меня и других организаторов семинарского цикла, и в первую очередь против профессора Фатмы Мюге Гечек, специалиста в области исторической социологии из Мичиганского университета, были откровенно клеветническими. В первом из писем, направленных мною в армянские газеты, я попытался объяснить, чего мы пытаемся достичь этими семинарами. Ниже приводятся выдержки из этих писем – первое из них было адресовано армянскому врачу (с турецкой фамилией), взявшему на себя роль журналиста-комментатора по армянскому вопросу:

Я не знаком с д-ром Муратом Ачемоглу, но создается впечатление, что он очень многое знает обо мне... Д-р Ачемоглу полагает, что «турки» разработали новую стратегию отрицания Геноцида армян. Турки сначала скрывали Геноцид, затем отрицали Геноцид, потом настал период оправдания массовых депортаций, вызванных соображениями государственной безопасности. Теперь мы вступили в новый, четвертый этап: турки цинично изобрели новый подход, который заключается в том, чтобы «убедить некоторых армянских профессоров собрать вместе турецких и армянских ученых для обсуждения событий 1915 года». Это позволит ограничиться признанием совершенного Геноцида в узком академическом кругу – вместо решения сложных политических вопросов о денежных компенсациях и территориальных уступках. Основываясь на одних лишь сплетнях и домыслах, д-р Ачемоглу пришел к выводу, что моя лекция и последовавшее за ней интервью в Стамбуле были связаны с этим турецким заговором. Так он пишет: «По неподтвержденным источникам, приглашение Рональда Григора Суни в Стамбул выступить перед турецкими студентами в Университете Коч является частью этой турецкой стратегии».

Конечно, очень трудно оспаривать «неподтвержденные источники», но я все же предпочту ответить на брошенные мне д-ром Ачемоглу обвинения и разъяснить, как вышло, что меня пригласили в Турцию. Мой бывший ученик из Мичиганского университета, последние три года преподававший в Университете Коч и как раз собиравшийся уйти оттуда, чтобы продолжить свою научную карьеру в Соединенных Штатах, пригласил меня в Стамбул выступить с лекцией об армянах. Я согласился приехать, поскольку, как мне казалось, это была уникальная возможность поставить перед турецкими студентами и интеллигенцией очень важные вопросы. Пригласивший меня молодой преподаватель объявил тему моей лекции в университете, однако он даже не пытался заручиться официальным разрешением на ее проведение со стороны университетской администрации. Я прибыл в университет, прочитал лекцию, получив большое удовольствие от весьма учтивого приема и заинтересованной реакции студентов и преподавателей. Другой американский студент, обучающийся в Турции, – на этот раз из Чикагского университета, где я сейчас работаю, – договорился об интервью с турецкой журналисткой, которая уже выступала в турецкой печати с очень смелыми статьями по разным спорным вопросам, в том числе и по курдской проблеме. Я прочитал лекцию и дал интервью за неделю до того, как Национальное собрание Франции признало факт Геноцида. Скорее всего, ни то ни другое не удалось бы провести сразу после этого

события. Из-за этого шага французского парламента и нервной реакции на него официальных властей Турции публикация интервью была отложена на несколько недель.

Я не получал никаких официальных приглашений ни от одной турецкой организации. Никто никак не пытался повлиять на содержание моего выступления. Почему же тогда против меня выдвигаются эти странные нападки, почему меня связывают с каким-то заговором в пользу турок? У этой достаточно неадекватной реакции на мое выступление есть, вероятно, несколько причин. Одна из них, как мне представляется, заслуживает подробного рассмотрения. Весьма понятно и прискорбно, но среди армян существуют люди, имеющие достаточно застывшее представление о турках – представление, в рамках которого туркам приписывается прочная и ничем не искоренимая ненависть к армянам, глубокая вражда, возможно внушенная исламом, к народу, изгнанному ими из исторической Армении. Такие турки не могут стремиться к искреннему диалогу с армянами – они могут только строить козни, используя наивных армян, с целью отвлечь внимание от очень сложных и больных вопросов, связанных с Геноцидом. Ачемоглу пишет как раз в подобном ключе: «Турки, с их стремлением к экспансии, с пантуркистской и пантуранистской идеологией, с их вечной ненавистью к армянам, не настроены на подлинное примирение с армянами». Эта фраза говорит о многом. Она приписывает всем туркам одни и те же взгляды. Она утверждает, что ненависть к армянам заложена в самой природе этого народа. Подобные взгляды не позволяют вступать в диалог или начинать обсуждение проблемы.

Очевидно, что я не стал бы рисковать и не поехал бы в Турцию, если бы я считал всех турок врагами армян или полагал, что любое обсуждение исторических проблем с этими людьми совершенно бесполезно. Как в Соединенных Штатах, так и во время моего пребывания в Турции я имел возможность убедиться в том, что далеко не все турки соответствуют стереотипным представлениям, высказанным здесь д-ром Ачемоглу. Существуют турки, отрицающие Геноцид, турки, фанатично поддерживающие кемалистский взгляд на историю страны и на современное государственное устройство Турции, турки, придерживающиеся исламистского мировоззрения и оспаривающие гегемонию кемалистов. Но есть и такие турки – среди них много интеллигенции и ученых, – кто пытается в очень сложной политической обстановке переосмыслить свою историю, включая историю массовых убийств армян в Османской империи. Я не только убедился в частных беседах в том, что университетские преподаватели и авторы многих опубликованных исследований заинтересованы в публичной дискуссии о Геноциде и готовы признать преступления, совершенные османами, – два турецких ученых написали отклики на мою статью, которая должна выйти в Armenian Forum. Эти отклики представляют собой значительный шаг по сравнению с доводами, обычно выдвигаемыми турецкими авторами, ближе стоящими к официальной позиции. Какой страшной интеллектуальной и политической ошибкой со стороны армян было бы захлопнуть дверь перед теми турками, кто хочет вступить в диалог, кто готов пойти на риск и на себе испытать возможные репрессии своего правительства, выступая за то, чтобы заново обсудить события 1915 года.

В настоящее время Турецкая Республика представляет собой авторитарное государство с репрессивным политическим аппаратом. Однако это не тоталитарное государство, в котором запрещено любое инакомыслие, любая дискуссия. В печати, в университетах есть отдушины, позволяющие осторожно высказываться по неоднозначным вопросам. В условиях цензуры, когда власть периодически пытается восстановить железную дисциплину, порой возникают и такие моменты, когда открывается возможность высказать иное мнение, возможность интеллектуального и политического продвижения вперед, – но эти возможности открыты только для людей, обладающих достаточным мужеством, чтобы пойти на риск. Неужели наша профессия, профессия ученых, требует от нас, чтобы мы повернулись спиной

к тем туркам, кто пытается воссоздать более свободную интеллектуальную жизнь в своей стране?

В заключение хотелось бы отметить следующее: д-р Ачемоглу, кажется, является сторонником замалчивания различий во взглядах и подавления инакомыслия внутри сообщества армянских ученых. По его словам, «предоставить профессору Суни возможность изложить его личные воззрения, которые во многих отношениях расходятся с общепринятым мнением большинства исследователей и историков... было бы нецелесообразным». Иными словами, армянские ученые должны признать общую для всех армян позицию по вопросу о Геноциде! Ачемоглу вульгаризирует и извращает мои взгляды на Геноцид. (Совершенно очевидно, что он не читал моих работ, хотя он и готов вынести им приговор. Статья с изложением моей позиции будет вскоре опубликована во втором номере Armenian Forum.) Он утверждает, что «исследователи Геноцида согласны с тем, что Геноцид армян имел расовую и политическую окраску и был заранее задуман, организован и спланирован таким образом, чтобы очистить Анатолию от армянского населения, отуречить эту землю и создать Турцию только для турок». Однако на самом деле далеко не все исследователи Геноцида согласны с этим. С моей точки зрения, причины Геноцида до сих пор не были надлежащим образом изучены. Сегодня существует целый ряд возможных объяснений: расизм турок; их религиозная нетерпимость; зависть к армянам, питаемая по экономическим и социальным причинам; отступление от революционной политики; пантуранизм; строительство империи и столкновение двух националистических идеологий. Моя позиция, несомненно, вызовет возражения – поскольку вместо того, чтобы объяснять Геноцид преимущественно расовой или религиозной ненавистью, я утверждаю, что депортации и массовые убийства не были запланированы задолго до самих событий, а стали результатом решений, принятых правительством младотурок в момент поражения, когда им представился удобный повод. Прикрываясь военными действиями, испытывая страх перед лицом воображаемой угрозы территориальной целостности империи и обороноспособности страны, которая будто бы исходила со стороны армян – «подрывного элемента», сотрудничавшего с наступающей русской армией, – младотурки решились раз и навсегда покончить с «армянским вопросом», полностью устранив армян из Восточной Анатолии. Более того, в моей последней статье, посвященной этой проблеме, я попытался показать различия между хамидскими массовыми убийствами 1894—1896 годов, убийствами в Адане в 1909 году и Геноцидом 1915 года. В первом случае это была попытка консервативной реставрации несправедливого и жестокого порядка; во втором случае резня произошла во время наступления контрреволюционных сил на младотурок, в то время как Геноцид был уникальной попыткой радикально изменить демографическую ситуацию в Анатолии.

Мое выступление в Стамбуле вряд ли было приятно слушать туркам. Пока я говорил, в аудитории чувствовалась явная напряженность. Однако очевидно, что молодые турки так мало знают о Геноциде, что они открыты новому, они хотят больше узнать о том, что тогда произошло. Те версии, которые предлагают им правительство и официальные «историки», звучат неубедительно, но без диалога с иностранными и армянскими исследователями изменить сознание молодого поколения невозможно. Ученые должны быть готовы к борьбе на научном фронте, должны быть готовы сражаться тем оружием, какое им пристало, – свидетельствами источников, доводами разума, честностью. Журналисты, я полагаю, будут использовать имеющиеся в их арсенале средства – надеюсь, более качественные, чем «неподтвержденные источники». В конечном счете решать политические, финансовые и территориальные вопросы будут государственные деятели и дипломаты. Эти вопросы находятся вне компетенции ученых или журналистов. Но если ученые не будут готовы к дискуссии, если они попытаются навязать единственный черно-белый взгляд на прошлое, они обезоружат сами себя и лишат всех нас возможности узнать правду о прошлом.

Рональд Григор Суни  
Чикагский университет  
23 августа 1998 года

В другом письме, отвечая на вопрос молодого немецкого исследователя, который публично назвал меня «агентом турок», я высказался более резко:

Я потрясен негативной реакцией на мою попытку начать дискуссию о Геноциде. Ни армянам, ни туркам, ни науке в целом не принесет пользы диалог лишь с самим собой – или с теми, кто полностью разделяет Ваше мнение. Идея провести в будущем году семинар по проблеме Геноцида уже вызвала ожесточенные споры – и это при том, что к осуществлению своего замысла мы еще даже не приступали. Перед нами стоит вопрос: следует ли нам отказаться от наших планов, уклониться от дискуссии, которая вызывает такую патологическую реакцию, или же мы должны пытаться двигаться вперед и выносить эти проблемы на более широкое обсуждение? 23 августа 1998 года.

Перед самым началом нашего первого семинара я опубликовал еще один ответ моим критикам:

Один немецкий философ как-то сказал: «Против невежества беспомощны даже боги». Помня этот совет, я воздержусь от очередной попытки исправить все неправильно истолкованные и неверно процитированные высказывания, которые приписывает мне один из ваших обозревателей. И хотя я надеюсь, что внимательные читатели смогут отличить журналистские обвинения от научных аргументов, мои друзья указали мне на то, что, если оставить эти высказывания без реакции, некоторые ваши подписчики могут принять их за изложение моих настоящих взглядов.

Один из самых серьезных упреков, который можно бросить армянскому исследователю, – это обвинить его в том, что он разделяет взгляды тех турок, которые отрицают сам факт Геноцида. Именно такое оскорбление было нанесено мне в вашей газете [Armenian Reporter], в выпуске от 22 января 2000 года. Рональд Суни – как заявляет ваш постоянный обозреватель – «принимает турецкую точку зрения, согласно которой планы Геноцида армян не вынашивались заранее: скорее, это была внезапная реакция со стороны османских властей на отчаянное положение, в котором они оказались. Поскольку Суни не специалист в этой области и, по всей видимости, не читал работ известного исследователя Геноцида Ваагна Дадряна, то ему сложно отличать заранее задуманное и запланированное действие от спонтанной реакции военного времени. Последнее – это как раз то объяснение, которое нам пытаются внушить турки».

Прежде всего, я читал работы Дадряна и даже написал для академического журнала Slavic Review рецензию на его самое значительное исследование. Профессор Дадрян был не в восторге от моей критической оценки его книги, но подобное несогласие во взглядах часто встречается среди ученых. Действительно, хотя я и признателен за его значительный вклад в изучение Геноцида, тем не менее я не согласен со многими его взглядами. Однако мои с ним расхождения никогда не выходили за рамки академической полемики, и разрешить наши споры могут только исторические свидетельства и убедительная аргументация, а не голословные обвинения.

Во-вторых, основные пункты, по которым я расхожусь с другими исследователями Геноцида, – это время принятия решения о массовых убийствах и депортациях армян и вопрос о том, насколько эти убийства и депортации были запланированы заранее, а также о мотивах, которыми руководствовались турецкие власти...

Наконец, отвечая на заданный вопрос... об использовании мною понятия «заранее обдуманый план», я разъяснил свое понимание этого определения.

«Придя к власти, младотурки (или партия „Единение и прогресс“) постепенно отошли от османизма в сторону турецкого национализма и пантуранизма, пытаясь найти новую формулу для легитимации и стабилизации распадающейся империи. В первые годы мировой войны младотурки испытали целый ряд поражений на Востоке, которые убедили их в неотвратимости армянской угрозы. Тогда они решили провести в жизнь порочную политику депортаций и массовых убийств – для того, чтобы полностью очистить регион от армян. Эта политика была инициирована государством в контексте жестокой войны и превратилась в масштабную кампанию убийств – первый случай Геноцида в XX веке» (Armenian Forum. Vol. 1 [Summer 1998]. № 2. С. 50—51). Я хотел подчеркнуть здесь преднамеренную и осознанную роль государства в развязывании и осуществлении Геноцида. Однако у меня остаются сомнения относительно *довоенных* планов руководства младотурок по ликвидации армян. Я убежден, что имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства демонстрируют нараставшую радикализацию османской политики по отношению к армянам на начальном этапе войны. Поэтому я и говорю об этих событиях скорее как о внезапном решении, нежели как о результате длительного планирования.

Я согласен с тем, что определенная преднамеренность (определение, предложенное в ходе этой дискуссии профессором Ваагном Н. Дадряном), т. е. некоторая запланированность и предварительное обдумывание, имела место. И все же я расхожусь с остальными исследователями по вопросу о том, когда было принято окончательное решение и насколько тщательно события планировались заранее. Изучение того, как проводился Геноцид, привело меня к убеждению, что, вопреки принятой точке зрения, это была слабо скоординированная, довольно беспорядочная акция. Было бы чрезвычайно интересно в будущем узнать, насколько подробно и как именно планировались эти события. Однако независимо от того, вынашивались ли детальные планы Геноцида армян до начала войны, или же он произошел без предварительного обдумывания в дни, последовавшие за поражением [турецкой армии на Кавказском фронте зимой 1914/15 года], ничто не может служить оправданием или обоснованием массовых убийств. В любом случае речь идет о злодейском преступлении против человечества.

Мои взгляды едва ли совпадают со взглядами тех турок, кто отрицает сам Геноцид, – я пытаюсь понять эту монументальную трагедию во всей ее сложности. Я не принимаю исследований, в которых армяне рассматриваются исключительно как пассивные жертвы, а не как активные подданные Османской империи, со своими собственными политическими ожиданиями и организациями. Внимание к историческому контексту и мотивам, которыми руководствовались турецкие лидеры, развязавшие массовые убийства и депортации, не означает оправдания или обоснования их решений и поступков. Постыдно полагать, что ученые, несогласные с господствующими взглядами на эти исторические события, непременно служат интересам лиц, отрицающих сам Геноцид. Позорно и совершенно бесполезно для понимания Геноцида позволять непрофессионалам присваивать себе право решать, что можно обсуждать, а что – нет. С таким же успехом я мог бы – не будучи медиком по образованию – объяснять дипломированному врачу, какие лекарства он должен прописывать пациенту.

Геноцид – это вопрос, касающийся всех армян. Мои родные прадед и прабабка, а также их родственники были убиты в 1915 году в Йозгате и Диарбекире (Дикранакерте). Вопреки требованиям вашего обозревателя, продемонстрировавшего свое непонимание того, как работают настоящие ученые, я намереваюсь продолжить изучение причин, по которым погибли мои близкие. Научное исследование – это серьезное дело, оно требует особой подготовки и кропотливого труда. Я рад, что на свете есть другие ученые – армяне, турки и лица

других национальностей, – готовые начать дискуссию о том страшном бедствии, которое постигло армян в начале XX века. 5 февраля 2000 года.

Первый турецко-армянский семинар собрался 17—19 марта 2000 года. Ученые из десяти различных университетов и исследовательских центров встретились в скромной обстановке Уилдер-Хауса (Wilder House), расположенного на территории Чикагского университета, чтобы представить свои доклады и обсудить являющуюся предметом ожесточенной полемики тему «Армяне и крах Османской империи». Этот семинар, в оргкомитет которого входили я сам, Мюге Гечек, историк литературы Кеворк Бардакян, историк и антрополог Стефания Платц и историк Кеннет Черч из Мичиганского университета, превзошел все ожидания: получилась товарищеская, непредвзятая дискуссия, читались очень серьезные доклады, а все участники продемонстрировали добрую волю и взаимное доверие. Открывая семинар, я выступил с небольшим обращением:

Это скромная, но историческая встреча: впервые исследователи разных национальностей, в том числе армяне и турки, собрались вместе, чтобы представить доклады и обсудить, как это подобает ученым, судьбу, постигшую народы Османской империи, когда эта империя вступила в эпоху упадка и распалась. Мы рассмотрим историю ряда народов – евреев, черкесов, курдов, арабов, греков. Но прежде всего нас будут интересовать люди и события, которые до сих пор замалчивались в работах, посвященных позднеосманской истории, – массовые убийства и депортации армян Османской империи, первый Геноцид в истории XX века. Мы не ожидаем достичь полного согласия, но надеемся на серьезное академическое обсуждение. Это – первая попытка сформировать новое сообщество ученых, вдохновленное либеральным османизмом, терпимостью к различиям, основанное на равенстве и уважении, а не на исполненном чувства собственной исключительности, оторванном от всего остального мира национализме.

Первые доклады, которые представили аспирант Чикагского университета Марк Бэр, историк из Университета Богазичи (Bogazici University) в Стамбуле Селим Дерингил, антрополог из Научного совета в области социальных наук Нью-Йорка (Social Science Research Council in New York City) Сетений Шами, историк Университета Браун в Провиденсе, Род Айленд, Энгин Дениз Акарли, были посвящены системе «миллетов», т. е. системе управления национальными меньшинствами в Османской империи. Марк Бэр говорил об изменениях в отношении к евреям, имевших место в первые века существования империи: в XVI веке эти подданные пользовались благорасположением властей, но уже в конце XVII века они подвергались значительной дискриминации и репрессиям. Селим Дерингил начал свое выступление с утверждения: «Это самый сложный доклад, который я когда-либо готовил в своей жизни: обращение к проблеме армянского Геноцида подобно прогулке по минному полю». Далее он представил яркий очерк армяно-турецких отношений, основанный на внимательном изучении документов, обнаруженных им в османских архивах. Дерингил показал собравшимся, что эти источники можно читать по-разному, они нуждаются в скрупулезном анализе, их нельзя изучать вне исторического контекста, а сами они должны стать частью общего анализа проблемы. Шами посвятил свой доклад образам и представлениям, связанным с черкесами – народом, который обрел новое самопредставление, новую коллективную идентичность, будучи изгнанным из пределов Российской империи и затем сосланным в Османской империи. Акарли поставил под сомнение применимость концептуальных рамок национального государства к рассматриваемой проблеме и показал, каким образом эта модель ограничивает наше понимание сложных, различных по своему составу империй. Он привел примеры из исламского права, продемонстрировав, как проблема внутренних различий в составе империи решалась в османском судопроизводстве.

Выступая с обращением к конференции, бывший специальный помощник Президента Республики Армения Джирар (Джерард) Дж. Либаридьян подчеркнул интеллектуальные и политические препятствия, стоящие на пути более глубокого осмысления Геноцида. Он начал свою речь цитатой из поэмы Егише Чаренца «Перекресток»: «Важно не только то, что случилось, но и то, как мы сами понимаем, что произошло». Либаридьян задал вопрос: «Почему некоторым больше нравится сама проблема, чем ее решение?» События 1915 года и их последствия должны быть возвращены истории. Общее прошлое было похищено теми, кто придерживается националистического подхода. «Некоторые историки, сказал Либаридьян, подобны павшим богам: они не властны над будущим и потому пытаются изменить прошлое по своему образу и подобию».

Доклады, представленные во второй день семинара историком из Чикагского университета Холли Шисслер, социологом из Университета Богазичи Кагларом Кейдером и историком Университета Сабанчи (Sabanci University) в Стамбуле Халилом Берктаем, были посвящены анализу турецкого национализма. В докладе Шисслер рассматривались различия между пантуркизмом, тюркизмом и тюранизмом. Профессор Кейдер повторил мысль о том, что националистический нарратив замалчивал действительно многонациональный характер Османской империи, и призвал к «активному воспоминанию». Профессор Берктай, в настоящее время изучающий турецкий национализм в исключительно важный для понимания проблемы период между 1908—1918 годами, обратился к массовой литературе, которая, как он утверждал, сыграла гораздо большую роль в формировании симпатий и антипатий населения, нежели малоизвестные публике теоретики национализма. Популярный писатель Омер Сейфеддин, чье творчество и рассматривалось в представленном докладе, развивал идеи тюркизма, отрицая различия внутри империи и рассматривая Запад как «наглую гулящую девку» – слабую, фемининную цивилизацию, приходящую в упадок.

Геноцид оказался в центре четырехчасового обсуждения, во время которого были представлены доклады историка Арама Аркуна из Центра Зохраб (Zohrab Center) в Нью-Йорке, историка Танера Аксама из Фонда поддержки развития знания и культуры (Foundation for the Development of Knowledge and Culture) в Гамбурге, мой доклад и доклад Кеворка Бардакьяна. Тщательно изучив протоколы судебных процессов против лидеров младотурок, проходивших после Первой мировой войны, Бардакьян обнаружил компрометирующие материалы, относящиеся к планированию и осуществлению депортаций и массовых убийств. Аркун рассмотрел проблему последствий Геноцида в Северной Киликии. Опираясь на документы из османских архивов, он продемонстрировал, как неудачи администрации стран – победительниц в Первой мировой войне на оккупированной ими территории Турции не позволили армянам добиться справедливости в послевоенный период. Я же представил анализ Геноцида как неудавшейся имперской стратегии, направленной на перестройку империи в пантуркистском и националистическом ключе.

Танер Аксам, первый турецкий историк, обратившийся к теме Геноцида, воссоздал в деталях хронологию принятия решения о депортациях, отнеся это событие к началу марта 1915 года. Накануне Энвер-паша, один из главных лидеров младотурок, вызвал коллег по партии в Стамбул для составления плана по устранению немусульманских элементов из Анатолии. В мае–июне 1914 года правительство выселило греков с западного берега Анатолии. 2 августа 1914 года Центральный комитет партии младотурок воссоздал Тешкилат-и-Махсуса (Teshkilat-I-Mahsusa) – особый орган, который позднее будет организовывать многие депортации и массовые убийства армян. В тот же момент в его задачи входила подрывная работа на Кавказе с целью спровоцировать Россию на вступление в войну против Турции. После поражения османской армии при Сарыкамыше в начале 1915 года Центральный комитет принял роковое решение о высылке армян. Здесь сработал двойной механизм: с одной стороны, был официальный приказ Министерства внутренних дел жандармским управле-

ниям на местах; с другой – задействовались неофициальные каналы – с секретными приказами к губернаторам провинций были направлены партийные агенты и функционеры.

Последний день конференции освещал период после Геноцида. Доклад историка из Чикагского университета Хакана Озоглу был посвящен восстаниям курдов и зарождению курдского национализма. По утверждению автора, история перехода от империи к национальному государству не может быть написана без учета исторического опыта этого народа. Мюге Гечек изучила воспоминания армянских писателей, которые недавно вышли и на турецком языке. Она отметила, что окончание холодной войны, либерализация турецких средств массовой информации и 75-я годовщина образования Турецкой Республики способствовали тому, что турецкие интеллектуалы почувствовали себя в большей безопасности, и таким образом у них появилась немыслимая ранее возможность для переосмысления прошлого. Историк из Мичиганского университета Джефф Эли свой заключительный комментарий к дискуссии начал с рассказа о том, как накануне столкнулся в такси с юристом. Юрист поинтересовался, куда он направляется. Эли сказал: «На конференцию, посвященную Геноциду армян». В ответ на это юрист спросил: «А что, разве сегодня что-то произошло?» Очевидно, продолжил далее Эли, проблема заключается в том, каким образом дискуссии ученых соотносятся со сферой общественного сознания и официальной памяти. С точки зрения Эли, качественные совместные работы, подобные этому семинару, являются необходимой предпосылкой для изменения общественного сознания. Осознанию Холокоста евреев в годы Второй мировой войны предшествовали серьезные научные исследования. Нужно воссоздать хронику событий. Участники семинара с энтузиазмом согласились с тем, что обсуждение затронутых тем должно иметь продолжение.

В то время как мы в своем семинаре и близкие нам по духу историки пытались наладить армяно-турецкий академический диалог, турецкое государство продолжало, и даже активизировало, кампанию по отрицанию Геноцида. Турецкие ученые, в частности Танер Аксаму, осмелившийся назвать события 1915 года Геноцидом, подвергся угрозам. Когда осенью 2000 года Комитет по международным отношениям при Палате представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом, на деньги Турции в Вашингтоне было создано мощное лобби для противоборства этому решению. В результате в Палате представителей удалось провалить резолюцию, признающую факт совершения геноцида против армян. Сначала Комитет по международным отношениям сопротивлялся могущественному лобби турецкого правительства и его влиятельным сторонникам, таким как бывшие члены Конгресса Боб Ливингстон, Стефен Соларц и Джеральд Соломон. Благодаря сопротивлению Комитета Соединенные Штаты вошли в число стран, признавших эту историческую трагедию первым в истории XX века Геноцидом. Турция была в ярости. Премьер-министр Турции Булент Эсевиц угрожал осложнениями в турецкоамериканских отношениях в том случае, если Палата представителей тоже охарактеризует массовые убийства как Геноцид. Турецкая печать осуждала армянскую версию истории как вымысел, демонстранты в Адане сожгли армянский флаг. Конгресс США, уступавший в прошлом давлению со стороны тех, кто готов сокрыть факт уничтожения целого народа, был на этот раз готов принять решение, соответствующее исторической правде. Однако в конце концов администрация президента Клинтона убедила достаточное число членов Палаты представителей проголосовать против резолюции.

Особенно показательным было поведение могущественной американской корпорации Microsoft, уступившей тем, кто отрицает реальность Геноцида. В 1997—1998 годах, т. е. примерно в то же время, когда Microsoft приступил к созданию Encarta – энциклопедии в цифровом формате, ее редакторы обратились ко мне с предложением написать более десятка статей о различных республиках и народах бывшего Советского Союза. Весной 2000 года на одну из этих статей – краткую историю Армении – обратил внимание посол Турции в США Баки

Илкин. Он направил письмо в редакцию Encarta, протестуя против употребления термина «Геноцид» в рассказе о депортациях и убийствах армян в 1915 году. Подобные официальные протесты достаточно распространены и часто сопровождаются письмами от турок, живущих в Америке, и турецких патриотических организаций. В этой истории, однако, необычным было то, что главный редактор Encarta Гэри Альт воспринял протест посла достаточно серьезно и распорядился, чтобы его сотрудники разобрались в этом вопросе. В итоге Альт пришел к выводу, что в данном случае действительно имели место «законные для науки разногласия во мнениях», а потому моя статья об Армении и статья о «Геноциде», написанная д-ром Хелен Фейн, исполнительным директором Института исследований Геноцида (Institute for the Study of Genocide), должны быть пересмотрены таким образом, чтобы отразить эти «разногласия во мнениях». Так что редактор Encarta позвонил мне домой и попросил переписать статью. Поскольку авторские права на эту публикацию принадлежат Encarta, сказал он мне, редакция имеет право изменять текст по своему собственному усмотрению и опубликовать его, не упоминая моего имени. Я заставил редактора, который был явно обеспокоен тем, что его вынуждали сделать, рассказать мне, что на самом деле стояло за требованием переписать статью. Возможно, он рассказал мне больше того, на что имел право. По его словам, турецкое правительство угрожало арестовать сотрудников и запретить продукцию компании Microsoft, если события 1915 года будут охарактеризованы как Геноцид. Это показалось мне столь абсурдным, что я заметил: «Что же они тогда будут делать в Турции? Вернутся к пергаменту и гусиным перьям?»

Положение, однако, было нешуточным. Правительство иностранного государства вмешалось в дела частной американской компании, пытаясь убедить ее нажать на своих авторов, которые, предположительно, пользуются высокой репутацией в своих областях, и заставить их переписать статьи таким образом, чтобы они соответствовали официальной точке зрения на историю. Ни д-р Фейн, ни я не собирались переписывать свои тексты в угоду турецкому правительству, т. е. утверждать, что власти Османской империи не были замешаны в планировании и осуществлении массовых убийств в 1915 году, что резня армян была просто трагическим следствием мифической гражданской войны между турками и армянами. Д-р Фейн и я предложили редакции Encarta оригинальные версии наших статей: рассказав читателям об убийстве более чем 800 тыс. армян (некоторые оценки числа жертв Геноцида доходят до 1 млн 500 тыс. человек), я отметил, что большинство историков убеждены в том, что подобное обращение османского правительства со своими армянскими подданными явилось первым случаем Геноцида в XX веке. Однако современное правительство Турции утверждает, что все эти смерти произошли вследствие гражданской войны, эпидемий и голода.

К нашему удивлению и облегчению, Encarta решила принять статьи без изменений. Однако когда эта история просочилась в журнал Chronicle of Higher Education и была подхвачена телевизионной программой Moneyline на канале CNN, то и Microsoft, и посольство Турции бросились отрицать факт угроз со стороны турецкого правительства, а заодно и факт отрицания Геноцида. И уж совсем все были изумлены, когда вслед за турецким правительством сам главный редактор Encarta вдруг заявил, что участие турецких властей в массовых убийствах и депортациях, в ходе которых было ликвидировано 90% анатолийских армян, можно с полным правом оспорить. Итак, на самом деле этот раунд выиграли те, кто отрицал Геноцид. Им удалось превратить в предмет публичной полемики неоспоримый факт массового насилия со стороны государства – насилия, творимого на огромной территории и засвидетельствованного документально немецкими союзниками Турции и нейтральными американскими дипломатами.

Тем не менее, хотя правительство Турецкой Республики, действуя через своих дипломатических представителей, через свое высокооплачиваемое лобби, через горстку скомпрометировавших себя ученых, и сумело на время исказить представления общества об

истории, у нас оставались признаки надежды: напряженные отношения между Грецией и Турцией заметно потеплели, Европа распахнула Турции свои двери, пламя войны с курдами стало угасать. И пока официальные власти Турции неуклюже пытались изгладить из нашей памяти следы Геноцида, некоторые армянские и турецкие историки настойчиво стремились к диалогу, в ходе которого удалось бы перейти от взаимных обвинений и отрицания фактов к чему-то более конструктивному.

Наша вторая встреча прошла в Мичиганском университете с 8 по 10 марта 2002 года. Двадцать историков, политологов, социологов и антропологов, интересующихся проблемами поздней Османской империи и судьбами ее армянских подданных, съехались из разных мест – даже из таких далеких от Мичигана, как Анкара в Турции и Бохум в Германии. Тема семинара называлась «Воссоздавая контекст опыта армянского народа в Османской империи: от войн на Балканах до новой Турецкой Республики». Участники представили тексты своих выступлений заранее, на семинаре они их зачитали, после чего началось продолжительное, очень живое, но корректное обсуждение докладов.

Целью семинара было понять, почему произошел Геноцид, – а сделать это можно, только учитывая общий исторический контекст. Мы стремились объяснить напряженность в отношениях между армянами и турками, формирование образа армян в турецком сознании как опасного, подрывного элемента; причины поражения турецкой армии в Первой мировой войне, угрозу новых поражений. Я снова открывал заседание: на этот раз я представил обзор армянской и западной исторической литературы по проблеме массовых убийств и депортаций 1915 года. Мое выступление дополнил доклад Гечек о турецкой историографии. Я высказал мысль о том, что традиционное изложение событий оставляет мало места для понимания всей сложности проблемы. Существующие исторические подходы пытаются дать объяснение массовым убийствам, ссылаясь на религиозную вражду или национализм, и не учитывают в полной мере то обстоятельство, что младотурки были светскими модернизаторами, стремившимися сохранить империю во что бы то ни стало. Вплоть до сегодняшнего дня армянская историография обвиняет во всем турок, отводя армянам лишь роль пассивных страдальцев, и представляя всю историю Османской империи как путь, с неизбежностью ведущий к Геноциду. Официальная позиция турецкого государства отрицает Геноцид и утверждает, что «Геноцида не было, а армяне сами виноваты во всем».

Доклад Гечек был посвящен тем изменениям, которые произошли в освещении событий 1915 года в Турции: в работах, появившихся в последние годы существования Османской империи, признавалось, что массовые убийства армян действительно имели место, в то время как в историографии Турецкой Республики нормой стало сознательное манипулирование историческими свидетельствами. В последние годы некоторые турецкие историки, вопреки давлению властей, перешли к «постнационалистическому» нарративу и пытаются представить более объективный взгляд на эти события. Такие исследователи, как историк из Университета Сабанчи (Sabanci University) в Стамбуле Халил Берктай, Танер Аксам, Танер Тимур и другие, основывают свои взгляды по этой проблеме на внимательном изучении османских документов.

Социолог Ваагн Дадрян, на протяжении многих лет занимавшийся изучением Геноцида, оспорил мое толкование причин массовых убийств. С точки зрения Дадряна, я недооцениваю значение ислама. Дадрян утверждал, что ислам представляет собой неподвластную изменениям догму. Большая часть совершенных убийств приходилась на пятницу – день, когда после молитвы муллы призывали правоверных мусульман к джихаду против армян. Здесь в дискуссию вмешался Фикерт Аданир из Бохумского университета (Германия), отметивший, что ислам отнюдь не монолитен – иногда он «инструментализировался» и превращался в оружие против христиан. Аданира поддержал молодой турецкий ученый с исторического факультета Йельского университета Сонер Чагаптай, еще раз повторивший мысль

о том, что ислам не однороден. Ислам может быть верой, идеологией, культурой или идентичностью. Особенно опасная ситуация в Османской империи сложилась с наступлением модерности (modernity), когда старые религиозные представления оказались под угрозой. До XIX века в Турции не было случаев массового уничтожения армян. Историк из Беркли Стефан Астуриян заметил, что тысячи армян были спасены мусульманами. Историк из Стэнфордского университета Арон Родригу добавил, что ислам создал «дискурсивный барьер» между мусульманами и немусульманами – с его помощью люди формировали свои представления о тех, кто отличался от них самих.

Другой известный исследователь Геноцида – историк из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хованнисян – объяснил, что специалисты, занимающиеся историей Армении, подобно исследователям Холокоста, разделены на два лагеря: «интерналисты» считают, что турки давно вынашивали планы Геноцида армян, а «функционалисты», напротив, полагают, что события носили достаточно случайный характер и произошли под воздействием представлений об армянской угрозе, возникших в годы Первой мировой войны. В своем выступлении Хованнисян утверждал, что противопоставление этих двух подходов чрезмерно преувеличивается и что функционалисты и интерналисты могут найти точки соприкосновения. Среди верхушки младотурецкого руководства, несомненно, были интерналисты, заметил ученый.

Молодой исследователь из Саутгемптона (Великобритания) Дональд Блоксхэм представил полемический доклад о возрастании радикализации в обществе во время Геноцида армян. Он утверждал, что война стала ключевым компонентом, приведшим к массовым убийствам гражданского населения. Политика турецких властей принимала все более и более радикальный характер по мере того, как правительство все более было склонно видеть в армянах опасную «пятую колонну» внутри своей страны. Только в июне 1915 года, заявил Блоксхэм, политика турецкого правительства стала действительно политикой Геноцида – иначе говоря, только тогда депортации переросли в систематические массовые убийства. Социолог из Мичиганского университета Танер Аксам утверждал, что младотурки приняли решение о депортации немусульман из Анатолии уже в январе 1914 года, а некоторые другие исследователи подчеркнули значение поражения Османской империи в войнах на Балканах 1912—1913 годов, из-за которых в обществе усилились панические настроения по поводу возможной потери Анатолии.

Подводя итог обсуждению, историк из Мичиганского университета Джераир Либардьян заметил: «Мы не знаем всего, и мы не можем решить все вопросы. И это очень правильный, здоровый подход». Семинар показал, что, хотя само слово «Геноцид» вызывает ожесточенные споры, здоровое обсуждение того, что произошло в 1915 году, вполне реально. Можно установить факты, можно приводить доводы, что ведет к изменению стереотипных представлений об этих событиях, «общих повествовательных конструкций», «мастер-нарративов». При этом некоторые участники семинара высказывали опасение, что объяснение Геноцида может привести к его оправданию. Однако, как представляется, следует различать между факторами, обусловившими события 1915 года, и собственно политикой правительства и решениями властей, из-за которых Геноцид стал свершившимся фактом. Философ из Нью-Йоркского университета Пол Богоссян развил эту мысль, разъяснив собравшимся, что причинность и оправдание – это две разные категории: первое – это дескриптивное (описательное) высказывание; второе же – нормативное высказывание. Указание на причины, которые привели к тем или иным событиям, само по себе еще не означает оправдания этих событий. Реакция турок на ситуацию в стране и на фронте в 1915 году, заявил Богоссян, никак не соответствовала реальной опасности. Ничто не может оправдать Геноцид.

После трех дней плодотворной дискуссии по секциям участники семинара собрались на общее заседание, во время которого Гечек, я, социолог Майкл Кеннеди, директор Меж-

дународного института и вице-ректор по международным отношениям Мичиганского университета и два турецких журналиста – Ченгиз Кандар и Хрант Динк – поделились своими впечатлениями о семинаре. Кандар сказал, что этот семинар стал «беспрецедентным начинанием в науке», и выразил надежду на то, что его результаты скоро станут известны публике. Динк отметил, что армянским журналистам, живущим в Турции, таким как он сам, очень трудно говорить о Геноциде: так легко стать врагом своего народа или своей страны. Говорить о нем – все равно что идти по лезвию ножа. Однако мичиганский семинар дал ему надежду на то, что эта проблема может быть решена путем диалога между двумя народами. Некоторые из собравшихся были недовольны семинаром и находили его односторонним и нетерпимым к чужому мнению. Выслушав жаркие споры между публикой и участниками семинара, политолог из университета Анкары Баскин Оран осторожно заметил, что сама ожесточенная полемика и накал страстей вокруг проблемы наглядно показывают, почему ученые должны собираться вместе для того, чтобы продолжить свои, крайне нужные всем исследования.

Те взгляды, которые в конце 1990-х годов служили предметом ожесточенной полемики, к 2002 году получили достаточно широкое признание в академической среде и в широких кругах американских армян. Турецкие ученые, равно как и турецкая общественность, признали необходимость подобных дискуссий. Это стало очевидным из интервью с участником нашего первого семинара, профессором Халилом Берктайем, которое было опубликовано в турецкой газете Radikal. Профессор Берктай – в настоящее время преподаватель Университета Сабанчи (Sabanci University) в Стамбуле – получил степени бакалавра и магистра по экономике в Йельском университете, а докторскую степень по истории – в Бирмингемском университете. Он автор трех монографий на турецком языке. В интервью Берктай рассказал читателям о том историческом контексте, в котором произошли события 1915 года:

*Халил Берктай:* До 1915 года массовые убийства армян происходили в 1880-х и в 1890-х годах. В правление Абдулхамида II армян убивали всякий раз, как только появлялись признаки националистических восстаний. Армяне и Османское правительство относились друг к другу враждебно. В особенности на армян натравливали курдские племена и хамидские отряды, состоявшие из курдов. В любом случае в «век распада» Османское правительство всегда предпочитало в таких ситуациях использовать не регулярную армию, а вспомогательные отряды, эксплуатируя в своих интересах их примитивность и склонность к насилию. В то же самое время в результате расширения Российской империи на Кавказе шла большая миграция мусульман из этого региона в Анатолию, где они присоединялись к мусульманским беженцам с Балкан. Испытанные ими в недавнем прошлом невзгоды разжигали в них страшную ненависть к немусульманам – и эти беженцы селились в основном в Восточной Анатолии. Необходимо также понять некоторые особенности верхушки военной диктатуры – не всех членов партии «Единение и прогресс», а именно высшего руководства, триумvirата Энвер, Кемаль и Талат. Это были не старые османские сановники. Это была новая элита.

*Корреспондент:* Чем же они отличались?

*Х.Б.:* Они были очень амбициозны и жадны. Позитивисты без корней: они выдвинулись только благодаря своему образованию и армии. Они жили в обстановке насилия, в которой оказались благодаря политике великих держав и восстаниям на Балканах. В результате они стали крайними националистами. Они боролись не на жизнь, а на смерть – ради сохранения жизнеспособности империи. На самом деле во второй половине XIX и начале XX века в Европе повсюду торжествовал хищнический социальный дарвинизм, принцип «убей – или убьют тебя». Это было время массовых боен, больших и малых, жертвами которых стали многие мусульмане-турки. Военная диктатура Энвера, Кемаля и Талата была чрезвычайным правительством, действовавшим в условиях войны.

*К.:* Османское государство, во главе которого стояла партия «Единение и прогресс», после армянских восстаний депортировало множество армян из этого региона. Армянские повстанцы помогали России. Известно ли, сколько всего армян было депортировано?

*Х.Б.:* В то время в Восточной Анатолии проживали 1 млн 750 тыс. армян. Официальное решение о выселении армян, принятое военным режимом – этим триумвиратом, предполагало депортацию из этого региона всех армян без исключения. Об этом свидетельствуют документы. В них нет упоминания о резне и массовых убийствах. Губернаторы и командующие гарнизонами получили приказ заставить всех армян, проживавших на территории современной Турции, переселиться на юг. Однако было понятно, что одновременно с этими официальными приказами, в то же самое время, сотрудники спецслужб получили особые устные распоряжения. Эти люди обожествляли насилие, у них не было никакой социальной морали.

*К.:* Эти особые распоряжения касались убийства армян?

*Х.Б.:* Да. Историк Танер Аксам очень хорошо это показал. С одной стороны, было законно принятое решение и его осуществление, с другой стороны – был запущен и другой механизм, не подчинявшийся закону.

*К.:* Сколько армян погибло во время насильственного переселения?

*Х.Б.:* По крайней мере 600 тыс. человек.

*К.:* Как погибли эти армяне? Кто их убил?

*Х.Б.:* Те, кто отдавал приказы, делали это при помощи особого аппарата – спецслужб. Считайте, что спецслужбы были гибридом Сусурлук и Хизбулла. [Скандалы вокруг Сусурлук и Хизбулла конца 1990-х годов продемонстрировали связь между некоторыми государственными структурами Турции и отдельными лицами и группами, причастными к политическим убийствам.] Было понятно, что Бахайттин Сакир, работавший на Энвера, Кемаля и Талата и возглавлявший спецслужбы, создал специальные эскадроны смерти и мобилизовал добровольцев в регионе. Некоторые из добровольцев, привлеченных к этой операции, были осужденными преступниками, выпущенными из тюрем, едва избежавшими виселицы. Знаете, кто совершил все эти убийства? Сегодняшние Йесилы, Абдулла Катли и Хизбулла! [Йесил и Абдулла Катли – люди, получившие дипломатические паспорта и оружие от каких-то структур государственного аппарата Турции с заданием совершить политические убийства в Турции и Европе в 1980–1990-х годах.] Это совершенно ясно. Бахайттин был типичным Йесилом или Катли того времени. Помимо использования подобных людей, они также подталкивали турецкие и курдские мусульманские племена к нападению на караваны армянских мигрантов. К этим убийствам можно также добавить ужасающие людские потери из-за страшных условий, в которых оказались вынужденные переселенцы. Всюду на Западе вы можете увидеть эти фотографии – на них невозможно смотреть! Первый раз, когда я наткнулся на эти изображения, я не мог вздохнуть, какое-то время я просто рыдал. Эти фотографии ничем не отличаются от тех, что были сняты в концентрационных лагерях во время массовых убийств и резни в Африке, – такое огромное количество людей на этих фотографиях.

*К.:* Арестовали ли и наказали ли османские власти чиновников, ответственных за смерть армян?

*Х.Б.:* Конечно. Эти убийства в значительной степени совершались не регулярной армией и не административным аппаратом. Как мы знаем на примере других исторических эпох, регулярная армия и бюрократия ненавидят всякие нерегулярные формирования, вооруженные отряды, которые совершают подобные злодеяния, – они испытывают презрение к таким отрядам. Османская армия и административный аппарат понимали, что это было чудовищное преступление. Спецслужбы, действовавшие независимо от губернаторов и командующих гарнизонами, вызывали у них отвращение. Некоторые губернаторы и армейские

командиры даже издали постановление об аресте Бахайттина Сакира – подручного Энвера и Талата – и попытались в 1915—1916 годах его арестовать.

*К.:* Пытались ли османские власти публично защитить себя от обвинений?

*Х.Б.:* Испытывая ужас перед тем, что произошло, и стремясь обелить свое имя перед мировой общественностью, османская армия и государственный аппарат сделали все, что могли, чтобы арестовать и наказать тех, кто нес ответственность за эту катастрофу. Несомненно, что некоторые из виновных понесли наказание. После того как Первая мировая война закончилась в 1918 году и триумвират, ответственный за поражение империи, бежал, парламент создал комиссию по расследованию этих событий. Затем в Стамбуле был создан военный суд. Это был знаменитый процесс. Его протоколы опубликованы на английском и турецком языках.

*К.:* Сколько в то время в регионе погибло мусульман?

*Х.Б.:* Возможно, десять или двенадцать тысяч. Проблема, однако, не в том, что «они убили не так много людей, а османы убили многих». Проблема вот в чем: насилие, творимое армянскими повстанцами, носило скорее локальный характер. Для того чтобы погибли сотни тысяч, нужно, чтобы такое число людей находилось в одном месте. Нападая на поля и села, вы не получите большого числа жертв. Неправильно также задавать вопрос, отдавали ли Энверы и Талаты письменные приказы уничтожить армян разным Йесидам и Катли той эпохи. Таких приказов они не издавали, и подобный документ никогда не будет найден. По этой причине очень важны свидетельства очевидцев. Существует множество фотографий и воспоминаний очевидцев, относящихся к армянским событиям, которые не известны турецкой общественности. Общественное мнение в Турции плохо информировано о том, что уже видели, о чем читали люди в Германии, Англии, Франции и Америке.

*К.:* Почему же Турецкая Республика, свергнувшая Османскую империю, ведет себя подобно османам и пытается скрыть эти события?

*Х.Б.:* Это очень серьезный вопрос. Это ошибка со стороны Турецкой Республики. Турция никак не определится по поводу своего политического и правового отношения к Османской империи. Турция не вполне осознала и не до конца усвоила тот факт, что она свергла старый османский порядок и на его месте установила современную республику. Здесь заключается очень серьезное противоречие. Республика не несет ответственности за эти события. Я думаю, это обстоятельство сыграло очень важную роль, когда Мустафа Кемаль был избран ее лидером, чтобы организовать сопротивление в Анатолии.

*К.:* Почему?

*Х.Б.:* Очень важно, что руки Мустафы Кемаля не были запятнаны кровью армян. Когда армян депортировали, Мустафы Кемаля не было в восточной Анатолии. Он сражался на фронте у Галлиполи. Когда в 1918—1919 годах в подпольных кругах партии «Единение и прогресс» обсуждался вопрос о том, кто станет лидером партии и возглавит сопротивление в Анатолии, было принято решение, что таким лидером должен стать Мустафа Кемаль. Мустафа Кемаль был одновременно героем войны и человеком, никак не замешанным в армянских событиях. После Первой мировой войны армяне убили лидеров партии «Единение и прогресс» Талата и Кемаля. В то время память об армянских событиях была еще свежа, и их поведение можно понять. Однако годы спустя армяне убили турецких дипломатов. Это не поддается логическому объяснению...

*К.:* Почему же Геноцид армян снова встал на повестке дня в мире? Что это – желание справедливости или подготовка к выдвижению территориальных претензий и требований о репарациях?

*Х.Б.:* В этом очень трудно разобраться. Однако тот факт, что этот вопрос снова возник, заставляет турецкое государство и общество занять оборонительную позицию, замкнуться в себе, делает их менее гибкими, неуступчивыми. Политическая поляризация по этому

вопросу столь сильна, что очень сложно решиться даже заговорить о таких вещах. На одном полюсе находится политика, основанная на необходимости «подтвердить, что Геноцид имел место, занести его в анналы памяти общества»; на другом – политика «отрицания Геноцида». В обстановке противостояния, откуда открывается прямая дорога к подавлению всякого инакомыслия, становится невозможным поиск точек соприкосновения. Я считаю, что было бы ошибкой со стороны Турции приносить извинения. Конгресс США ведет себя как полиция нравов, проводящая проверку на девственность. Американский конгресс попросили вынести решение – «да, это был Геноцид» – по поводу событий, которые произошли 85 лет назад в совершенно другой точке земного шара. Со стороны любого парламента было бы невероятно наивно питать иллюзии, что этот орган имеет право принимать решения относительно исторических событий, которые должны быть предметом научного анализа. По правде говоря, Турецкая Республика тоже должна перестать муссировать армянский вопрос.

*К.:* Как она может оставить эту тему?

*Х.Б.:* Турция делает слишком много заявлений по этому вопросу, все время меняя свою позицию: «ничего этого не было», «это было, но имела место серьезная провокация». Президент республики был прав, когда сказал: «Этот вопрос нужно оставить историкам». Турецкая Республика может сегодня сказать одну очень простую вещь: Республика была основана в 1923 году.

Эти события произошли в 1915 году. Армия Турецкой Республики и ее государственные органы не причастны к этим событиям. Турецкая Республика – это новое государство. С правовой точки зрения она не является преемницей ни Османского правительства, ни правительства партии «Единение и прогресс». Нас – как правительство или как государство – не интересует то, что произошло в хаосе Первой мировой войны. Мы не совершали этих злодеяний, мы не несем за них ответственность. Но эта тема открыта для дискуссии. Те, кого это интересует, могут обсуждать ее так, как они хотят. У нас нет официальной позиции по этому вопросу.

Призыв Берктая к деполитизации проблемы Геноцида и к открытой дискуссии в Турции пока остается не услышанным. Берктаю даже угрожали увольнением из университета, но патронесса университета не поддавалась нажиму.

Наш третий армяно-турецкий семинар прошел в Университете штата Миннесота 28—30 марта 2003 года. Организатором семинара выступил профессор исторического факультета Эрик Вайтц, занимающий пост, учрежденный в память Ашрама и Шарлотты Оганесян. На семинар приехали молодой ученый из Армении Рубен Сафрасатян с докладом об изучении Геноцида в его республике, а также исследователи из Европы – Ханс-Лукас Кизер из Базеля, Фикрет Аданир из Рурского университета в Бохуме, из Турции – Мете Тункай, из Соединенных Штатов – Норман Наймарк из Стэнфордского университета и Питер Холквист из Корнелла. К тому времени порядок заседания и ход обсуждения уже установились. Хотя споры по отдельным пунктам и возникали, атмосфера рационального обсуждения, царившая на семинаре, позволяла уточнять нюансы и даже находить ответы на некоторые сложные вопросы. В настоящее время идет работа по организации четвертого семинара – на этот раз он пройдет в Европе, в Зальцбурге, в апреле 2005 года. В организации семинара принимает участие Институт в поддержку исторической справедливости и примирения (Institute for Historical Justice and Reconciliation). Тема семинара – «Идеологии революции, нации и империи: политические идеи, партии и практики в последний период существования Османской империи, 1878—1922». Вскоре будет опубликован том избранных докладов по материалам первых трех семинаров.

Признание приходит разными путями. 6 марта 2004 года газета New York Times поместила большую статью о Танере Аксаме – о том, какие усилия он приложил к тому, чтобы

начать дискуссию по вопросу о Геноциде. В этой статье были упомянуты наш семинар и его организаторы. Я закончу свой обзор недавней истории наших совместных усилий, направленных на то, чтобы положить начало диалогу между турками и армянами по вопросу о Геноциде, выдержкой из этой статьи, написанной журналисткой Белиндой Купер:

Танер Аксам не похож ни на героя, ни на предателя – хотя его называли и тем и другим. Худощавый, мягкий в общении человек, тщательно подбирающий слова, г-н Аксам – турецкий социолог и историк, в настоящее время преподающий в Мичиганском университете, пишет о событиях, которые произошли почти сто лет назад в стране, давно уже не существующей на карте. Он пишет о массовых убийствах армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако в мире, в котором история и национальное самосознание тесно переплетены, в котором прошлое вторгается в политику сегодняшнего дня, его работы, вместе с исследованиями других турецких ученых, мыслящих в сходном ключе, открывают новые перспективы.

Г-н Аксам, которому сейчас 50 лет, – один из немногих ученых, оспаривающих упорные заявления своей родины, что никакого организованного избиения армян не было. Он первый турецкий специалист, публично употребивший слово «Геноцид» в этом контексте.

Это очень смелый шаг – особенно если учитывать, что Турция уже угрожала порвать дипломатические отношения со странами, признающими Геноцид армян. Например, в 2000 году Анкара смогла сорвать принятие Конгрессом США резолюции, определяющей убийства 1915 года как «Геноцид», пригрозив закрыть доступ к военным базам на своей территории. «Мы признаем, что в то время произошли трагические события, которые затронули всех подданных Османской империи, – заявил советник турецкого посольства в Вашингтоне Тулуй Танк, – однако Турция твердо убеждена в том, что это был не Геноцид, а самозащита Османской империи».

Такие ученые, как г-н Аксам, называют подобные заявления ошибочными и стремятся их оспорить. «Мы должны взглянуть в лицо исторической правде, как это сделали немцы после войны, – говорит Фикрет Аданир, турецкий историк, многие годы живший в Германии. – Это очень важно для здоровой демократии, для гражданского общества».

Большинство ученых за пределами Турции согласны с тем, что эти убийства были первым в истории XX века случаем Геноцида. Согласно определению Женевской конвенции 1948 года, Геноцид – это деяния, совершенные с целью уничтожения – полного или частичного – национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Во время Первой мировой войны правительство распадающейся Османской империи, опасаясь действий армянских националистов, проводило массовые депортации армян из восточных областей страны.

В ходе этих событий, в которых некоторые исследователи видят прообраз будущего Холокоста, мужчины, женщины и дети были высланы в пустыню, где оказались обреченными на голод. Их сгоняли в амбары и церкви, а потом эти строения поджигали. Их пытали до смерти или топили в воде. Сколько в точности человек тогда погибло, так и не установлено: армяне называют цифру 1,5 млн человек. Турки говорят, что убитых было несколько сотен тысяч.

По официальной турецкой версии, армяне пали жертвой гражданского конфликта, который они сами и спровоцировали, выступив на стороне русских, стремившихся тогда расколоть Османскую империю на части. В любом случае зверства, творимые тогда против армян, документированы: есть свидетельства печати того времени, свидетельства уцелевших жертв, донесения европейских дипломатов, миссионеров и военных. После Первой мировой войны состоялись судебные процессы над руководством Османской империи. Они

не были доведены до конца, но после них остались детальные данные и даже признания некоторых лиц в ответственности за совершенные преступления.

Юридическая экспертиза, затребованная в прошлом году Международным центром в поддержку справедливости в переходный период (International Center for Transitional Justice), располагающимся в Нью-Йорке, пришла к заключению, что существуют достаточные доказательства, позволяющие – в соответствии с международным правом – охарактеризовать эти убийства как Геноцид.

Ситуация в чем-то напоминает положение дел в Германии в первые десятилетия после Холокоста: Турция последовательно отрицает, что убийства армян были преднамеренными и что тогдашнее правительство несло за них какую бы то ни было моральную или юридическую ответственность. За многие годы, прошедшие после создания в 1923 году Турецкой Республики, на эту страну – говоря словами турецкого историка Халила Берктая – опустилась «завеса молчания». Турция использовала свое влияние как союзницы США в годы холодной войны, для того чтобы помешать другим государствам высказывать взгляды, противоречащие турецкой интерпретации этих событий.

Г-н Аксам принадлежит к числу тех турецких ученых, кто громче всех протестует против этого молчания. Лидер левой студенческой оппозиции репрессивному турецкому правительству в 1970-х годах, г-н Аксам провел годы в тюрьме за «распространение коммунистической пропаганды», прежде чем ему удалось бежать в Германию. Там, отчасти под воздействием продолжавшейся в Германии борьбы за понимание своей собственной истории, он приступил к переосмыслению истории Турции. Изучая процессы над турецкими лидерами после Первой мировой войны, Аксам начал сотрудничать с Ваагном Дадряном – известным армянским историком этих событий. Их необычная дружба стала темой голландского фильма 1997 года «Стена молчания».

Турки боятся признать преступления, совершенные ими в прошлом, говорит г-н Аксам, потому что признать, что основатели современного турецкого государства, которых сегодня почитают как героев, были причастны к содеянному злу, – означает поставить под вопрос самые основы легитимности страны. «Если вы начнете задавать вопросы, вам придется их задать и в отношении основателей республики», – настойчиво повторяет г-н Аксам, сидя за чашкой турецкого чая в заставленной книгами гостиной своего дома в Миннеаполисе, пока его двенадцатилетняя дочь делает уроки в соседней комнате. Рядом в его кабинете аккуратно сложены стопки выписок из турецких газет 1920-х годов.

Он и подобные ему люди настаивают на том, что признание преступлений, совершенных в прошлом, служит настоящим интересам Турции. Эти взгляды совпадают с опытом Латинской Америки, Восточной Европы и Африки, которым пришлось столкнуться с похожими вопросами после краха репрессивных политических режимов или конца вооруженных конфликтов. Поверив в то, что народы могут обрести демократическое будущее, признав прошлые ошибки, эти страны открыли свои архивы, провели судебные процессы над преступниками и создали комиссии по расследованию злодеяний.

По словам г-на Аксама, в последнее время был достигнут некоторый прогресс, в особенности после того, как на выборах 2000 года к власти в Турции пришло достаточно умеренное правительство и страна прилагает большие усилия для вступления в Европейский союз. В конце концов, говорит г-н Аксам, в прошлом инакомыслие в Турции вело к тюремному заключению или даже смерти. «Из-за вопроса об армянском Геноциде никто не будет вас убивать. Все препоны к его решению существуют лишь в нашем сознании».

Г-н Аксам убежден, что сопротивление Турции диалогу с армянами об общей истории «не является позицией большинства людей в стране». Он цитирует результаты недавнего опроса общественного мнения, которые были опубликованы в одной турецкой газете. Они

показывают, что 61% населения Турции полагает, что настало время публичного обсуждения того, что в ходе опроса было названо «обвинениями в Геноциде».

В 1998 году Рональд Григор Суни, американский профессор армянского происхождения, преподаватель политологии в Чикагском университете, был приглашен прочесть лекцию в турецком университете. «Моя мать сказала: не езди туда, этим людям нельзя верить, – вспоминает Суни, – и я испытывал беспокойство по поводу возможной опасности». К его удивлению, несмотря на то, что Суни открыто назвал убийства армян Геноцидом, аудитория встретила его не враждебно, а с интересом.

Тем не менее взгляды г-на Аксама и ему подобных исследователей продолжают предаваться проклятию со стороны националистических сил, которые по-прежнему достаточно влиятельны в Турции. Угрозы со стороны националистических организаций недавно предотвратили показ фильма «Арарат», снятого канадско-армянским режиссером Атомом Эгояном. В этом фильме речь идет о том, как армянская диаспора относится к своей истории.

Попытка самого г-на Аксама вернуться и поселиться в Турции в 1990-х годах потерпела крах, когда несколько университетов, опасаясь преследований со стороны правительства, отказались принять его на работу. Когда в 2000 году в интервью, данном одной из вполне проправительственных турецких газет, г-н Берктай оспорил официальную версию массовых убийств армян, он стал мишенью развернувшейся против него кампании. Ему писали письма с угрозами. И тем не менее, по словам Аксама, среди приходившей к нему корреспонденции преобладали письма поддержки. Их писали турки, живущие как в стране, так и за ее пределами. «Они поздравляли меня и благодарили за то, что я осмелился заговорить об этом», – вспоминает Аксам.

Среди армян, живущих в США и Европе, научная дискуссия тоже ведется будто на «минном поле». Попытки начать обсуждение массовых убийств армян в более широком историческом контексте вызывают среди них подозрения. «Многие из армянской диаспоры полагают, что, если вы пытаетесь понять, почему турки так поступили, – поясняет г-н Суни, – вы каким-то образом оправдываете или обосновываете эти убийства».

Подобно своим турецким коллегам, молодое поколение армянских исследователей в США и других странах не хочет оставаться в этом интеллектуальном тупике. В 2000 году г-н Суни и профессор Мичиганского университета Фатма Мюге Гечек организовали конференцию, которая, как они надеялись, сможет пойти дальше того, что г-н Суни называет «бесплодными дебатами о том, был ли Геноцид или не был». Несмотря на некоторые разногласия между турецкими и армянскими участниками, группа исследователей, которую удалось собрать на эту конференцию, продолжает встречаться, и ее состав все расширяется.

Еще до этой конференции г-н Аксам пытался навести мосты между армянскими и турецкими учеными. В 1995 году в Армении, на конференции, посвященной Геноциду, он познакомился с Греггом Саркиссяном, создателем Института Зоряна в Торонто – исследовательского центра, посвященного изучению армянской истории. Это была, по их собственным словам, чрезвычайно эмоциональная встреча. Они вдвоем посетили армянскую церковь, где зажгли свечи в память об убитых родственниках г-на Саркиссяна и в память о Хаджи Халиле – турке, спасшем бабушку г-на Саркиссяна и ее детей.

Г-да Аксам и Саркиссян говорят, что Халил, «честный турок», символизирует возможность более конструктивных отношений между двумя народами. Но, как и многие армяне, г-н Саркиссян считает, что Турция должна признать свою историческую ответственность за содеянное, прежде чем примирение станет возможным. «Если они это сделают, – говорит он, – начнется процесс заживления ран и армяне перестанут говорить о Геноциде. Мы будем говорить тогда о Хаджи Халиле».

# **Андреас Лангеноль**

## **Общественная память после смены строя: сходства и различия между практиками памяти в посткоммунистических и постколониальных странах**

### **1**

Прошло уже более десяти лет после окончания системной конфронтации между Западом и Востоком, а изучение социальной памяти в бывших социалистических обществах по-прежнему осуществляется под девизом «На Востоке: возвращенная память», сформулированным в 1990 году Аленом Броссой с соавторами как заголовок сборника статей<sup>90</sup>. Исследователи рассматривают практики коллективной памяти и, в особенности, их политическое измерение как процессы повторного открытия некоего прошлого, которое до того считалось похороненным, как предпринимаемые в культуре (и порой ведущие к заблуждениям) попытки освобождения и обособления, направленные против господствовавшей дотоле памяти, попытки критического осмысления собственных традиций. Это направление исследовательской мысли, которому следует основная масса нынешних авторов, восходит главным образом к работам Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнджера<sup>91</sup>, а также Бенедикта Андерсона<sup>92</sup>. Оно нацелено на прослеживание процесса «изобретения традиции», особенно в масштабах нации (национального государства). Сейчас этот подход применяют уже и на региональном и локальном уровне.

---

<sup>90</sup> A l'Est, la mémoire retrouvée / Ed. A. Brossat e.a. Paris, 1990.

<sup>91</sup> The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983.

<sup>92</sup> Anderson B. Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt a.M., 1988.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.